

ИЛ
Библиотека журнала «Иностранная литература»
Питер Устинов
День состоит из сорока трех тысяч двухсот секунд



Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Peter Ustinov

Питер Устинов

День состоит из сорока трех тысяч двухсот секунд

Рассказы

Составление и перевод с английского Ю. Зараховича

Предисловие М. Ткачева

Москва
«Известия»
1985

И (Англ)
У80

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент В. Шестаков

Обложка художника Н. Ящука

Питер Устинов — штрихи к портрету

Наверное, вам, читатель, известно, что среди множества дефиниций нашего XX века есть и такая — «век специализации». Переизбыток информации, знаний, профессиональных требований, как явствует из этого определения, строго ограничил деятельность людей, даже самых талантливых, жесткими, конкретными рамками. Дарования всесторонние, универсальные, согласно пророчествам теоретиков, обречены исчезнуть, как мамонты.

Не будем оспаривать теорию. Допустим: личности универсальные и эту свою универсальность реализующие, которые все же появляются время от времени, суть исключения, подтверждающие правило. И в число таких исключений внесем, не колеблясь, автора книги, которую вы держите в руках, — Питера Устинова. Судите сами: актер, с успехом снявшийся более чем в полусотне фильмов (дважды за лучшее исполнение мужских ролей удостоенный премии «Оскар») и создавший десятки персонажей на театральной сцене; режиссер, ставивший нашумевшие фильмы и спектакли — в том числе по собственным сценариям и пьесам (напомню: последняя его, девятнадцатая по счету, пьеса «Десятая Бетховена», где он перенес в наше время великого немецкого музыканта и сам сыграл его роль, стала «гвоздем» лондонского театрального сезона и выдержала более ста представлений); автор, режиссер и участник телепрограмм, оригинальных и острых, не раз отмеченных премиями; мастер устного рассказа — его «театр одного актера» часами держит в напряжении аудиторию, заставляя смеяться до упаду самых серьезных и невозмутимых...

Прерву на минуту наш перечень. Здесь уместно добавить два слова об одном из проявлений таланта Питера Устинова — его комическом даре. Ирония, юмор, сарказм по-

разному преломляются в искусстве. У одних авторов, да и исполнителей тоже, они становятся как бы самоцелью — развлечь во что бы то ни стало, рассмешить, позабавить. Но часто смех обретает функцию иную — критическую, обличительную. Послушаем самого Устинова. «Комедия, — утверждает он, — просто один из способов оставаться серьезным. Честно говоря, это единственный известный мне способ оставаться серьезным». Слова его искренни, в «серьезности» юмора Питера Устинова — применительно и к рассказам, которые вы намерены прочитать, — убеждаешься сразу. Равно как по мере чтения все сильней проникаешься притягательной силой его юмора, весьма трудно определимой, но явственно ощущаемой, которую рецензент одной из устиновских книг ненаучно, но зато, на мой взгляд, верно назвал «очарованием»...

Вернемся, однако, к первоначальному предмету нашего разговора и, упомянув еще об Устинове — живописце, мастере сценографии и театрального костюма, назовем, наконец, Устинова-писателя. Он автор не только рассказов — ироничных, порой язвительных, проникнутых поистине чеховской добротой и вниманием к «маленькому человеку» и неприятием социальной несправедливости, лицемерия, стяжательства, — но и романов. Приведу как пример лишь два из них: «Крамнэгел» *, в чем-то, мне кажется, созвучный творениям «старых» классиков Г. Филдинга, Т. Смоллетта (мотив «путешествия», нарочитая подчас обнаженность сатирического приема и проч.), и второй — своеобразную, полную иронии и парадоксов романизированную автобиографию «Уважаемый Я».

Склонность к парадоксу — будь то суждения, расходящиеся с прописными истинами, или неожиданные, нелогичные даже на первый взгляд повороты действия, повествования — свойственна и пьесам Устинова, и его прозе. Парадоксальность эта ощущается и в построенной им, так сказать, художественной проекции его собственного

* Роман «Крамнэгел» опубликован в журнале «Иностранная литература» в № 8, 9, 10 за 1981 год.

бытия. Вот, скажем, исторический экскурс, из коего мы узнаем о прапрадедах автора: первый был венецианским музыкантом, второй — помещиком в Поволжье, третий — директором школы неподалеку от Парижа, четвертый — добропорядочным швейцарским бюргером, пятый жительствовал в экзотической Эфиопии... Сколько возможных загадочных вариантов было под рукой у Природы — не сосчитать! Далее мы узнаем, что сам Питер Устинов стал англичанином лишь волею случая. Отец его, Иона фон Устинов, корреспондент одного из немецких информационных агентств в Амстердаме, предпринял путешествие по России, где встретил Надежду Бенуа, дочь архитектора Леонтия Бенуа (среди построенных им зданий — западный корпус Русского музея, возведенный в Петрограде в 1914—1916 годах. Дядей же Надежды Леонтьевны, добавлю я прежде, чем закрыть скобки, был знаменитый русский художник, теоретик искусства и театральный деятель Александр Бенуа). Иона фон Устинов обвенчался с Надеждой Леонтьевной, и вскоре они уехали в Лондон, куда он направлен был на работу. Там в 1921 году родился у них сын Питер. Его отдали учиться в Вестминстерскую школу, одну из старейших и самых престижных привилегированных частных школ, выпускники которых со временем занимают обычно ключевые посты в политике и экономике, становясь элитой и опорой британского истеблишмента. Но Питер Устинов — вновь парадокс! — по окончании школы поступает в Лондонскую театральную студию. В двадцать лет он уже профессиональный актер, режиссер и подающий надежды драматург. Сценическую карьеру его прервала вторая мировая война. С 1942-го по 1946 год Устинов прослужил в армии рядовым. Сдать экзамены на офицерский чин ему так и не удалось — за недостатком способностей, такова была официальная формулировка. И тут парадокс? А может, и не парадокс это вовсе, а логическое проявление рутины и консерватизма, присущих ревнителям воинской славы и традиций, позднее высмеянных Питером Устиновым?

Итак, послевоенные годы. Здесь начинается творческий взлет, определивший всю последующую жизнь Устинова. И пусть какие-то годы самому ему кажутся более плодотворными, другие — менее, все они были наполнены поисками, трудом, свершениями и оставили свой след в искусстве, в том числе и искусстве слова. Однако Питер Устинов — человек незаурядного не только художественного, но и общественного темперамента. Ему ясно: судьбы культуры сегодня неотделимы от глобальных политических и социальных процессов и прежде всего — от борьбы за мир. «Если не заниматься э т и м , — говорит о н , — то никому из нас не придется больше заниматься чем-либо вообще». Вот почему столько времени и творческой энергии отдает он работе, помогающей лучшему взаимопониманию между народами. Еще одно высказывание Устинова. « Я , — говорит о н , — горжусь тем, что работаю для ЮНЕСКО. Не надо разрушать мосты, соединяющие разные страны в единое человечество». И среди премий его и наград две не совсем обычные: международная премия Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и орден Улыбки — им правительство Польши награждает за особые заслуги в воспитании подрастающего поколения (Устинову орден был вручен во время его поездки в эту страну).

Тут, пожалуй, надо упомянуть о вышедшей в прошлом году книге Питера Устинова «Моя Россия», где он как бы размышляет вслух о прошлом России и ее культуре, о русском характере, о социализме, преобразившем жизнь России, и ее месте в современном мире, противоречивом и сложном. Можно принять или оспорить иные из конкретных его оценок, главное — его позиция вдумчивого и непредвзятого свидетеля Истории, отбросившего нелепый жупел «советской военной угрозы» и видящего, откуда на самом деле исходит угроза миру, кто в ослепленье готов поставить на карту судьбу человеческой цивилизации. Вот пример аргументации Устинова. Он рассказывает об иностранной интервенции против Советской России в 1918—1920 годах (на Западе, подчеркивает он, вспоминать об этом не приня-

то) и далее пишет: «Прошло всего лишь двадцать лет, и все началось снова, на этот раз с потерями не в один миллион, а в двадцать миллионов человек. И вновь была одержана победа после начального периода неудач. Неужели после этого нужны еще какие-то доказательства того, что русским следует находиться в состоянии постоянной готовности, а не уповать на добрые намерения Запада? Имеется гораздо больше аргументов в пользу искренности русских, заявляющих о стремлении к миру, чем в пользу доброй воли Запада». Устинов предлагает читателю представить себе гипотетическую картину — Соединенные Штаты, окруженные плотным кольцом советских военных баз, и вообразить, сколь яростной была бы реакция американцев. Как и многие европейцы, Питер Устинов возмущен беспардонным «выкручиванием рук», применяемым Америкой к ее собственным союзникам, и лихостью, с которой официальный Вашингтон решает мировые проблемы. Заключая книгу, он пишет: «Хочу вновь повторить, что я не испытываю страха перед моей Россией. Это страна с трудной историей, с мучительной историей выживания. Я не верю в превосходство народов и тем более в их неполноценность. Русские — люди, подобные другим, с их достоинствами и недостатками, и мир без них обеднел бы».

Легко понять, что книга эта была с откровенной враждебностью принята консервативной британской прессой. Почтенный лондонский «Экономист», позабыв свою респектабельность, с площадной наглостью советовал Устинову «применять таланты в других областях».

Думается, самому Питеру Устинову виднее, как распорядиться своими талантами. И он с прежней неутомимостью и настойчивостью продолжает трудиться во имя сближения народов и предотвращения угрозы ядерного конфликта. Недавно он снова приезжал в Москву, готовя очередную телепрограмму о нашей стране. Кстати, многолетнее свое сотрудничество с советским телевидением он оценивает весьма высоко, ведь именно оно, кроме всего прочего, дало ему возможность лучше узнать наших людей,

их жизнь и труд. Без этой работы, подчеркивает он, не было бы и книги «Моя Россия», на основе которой он намерен создать многосерийный фильм.

Близкий друг Устинова, журналист Генри Брэндон как-то сказал о нем: «Питер — реформатор по натуре, он хотел бы переделать мир». Отдадим должное английскому юмору — конечно же, Питер Устинов не собирается переделывать мир в одиночку. Речь идет о другом, о будущем нашего мира: каким ему быть, что надо сделать ради этого будущего. И тут уж у всех, кто лично знаком с Устиновым, видел его на экране или на сцене, читал его прозу, сомнений, я думаю, не возникнет: будущее «по Устинову» должно быть построено на основе справедливости, человечности и добра.

М. Ткачев

Добавьте немного жалости

— Поистине, вы великий волокитчик, — сказал Филип Хеджиз.

Джон Отфорд поерзал в своем вращающемся кресле и улыбнулся уклончиво. Стоял чудесный день поздней осени. Солнце ложилось на подрагивающие золотые листья, и время от времени легкий ветерок поглаживал их тенями ряды старинных книг, выстроившихся на полках вдоль стен кабинета. У окна лениво плавали из стороны в сторону пылинки.

— Я бездельник и признаю это, — кратко пояснил Отфорд. — Но ведь сам характер моей работы, несомненно, сокращает прилив жизненных сил. И вообще я сыграл бы сейчас в гольф.

— И я бы сыграл, — вздохнул Хеджиз. — Но не смею поддаваться искушению. Через десять дней надо посылать рукопись в набор.

— О, вы и ваша энциклопедия! Почему бы вам просто не переиздать то, что я написал пять лет назад? Я корпел тогда над этим материалом до кровавого пота.

— Если вы читали мое письмо, в чем я сомневаюсь, — с ноткой вполне дружелюбной язвительности произнес Хеджиз, — то, вероятно, помните, что мы не имели ни малейшего намерения обновлять ваши высоконаучные и восхитительные статьи о битвах Оливера Кромвеля или египетском походе Наполеона. Но итальянская кампания последней войны столь часто упоминалась с тех пор в мемуарах генералов, что выплыли на свет божий новые факты, которые, возможно, следует принять во внимание.

— Генеральские мемуары! — фыркнул Отфорд. — Гене-

ралы, как правило, чертовски плохо пишут. Либо, по меньшей мере, подбирают себе «писателей-призраков» так же бездарно, как и штабных офицеров.

— Не уверен, есть ли у вас основания для таких высказываний, — возразил Хеджиз. — Книги, которые я послал вам на рассмотрение, вот уж который год так и лежат на столе, в прекрасном уборе из пыли. Мемуары Паттона, Марка Кларка, Омара Брэдли, Эйзенхауэра, Манштейна! И на самом верху я вижу Монти *. В этом есть какая-то символика?

— Она просто пришла последней. — Отфорд начал терять терпение. — Филип, — сказал он, — вы очень милый человек, но я бы хотел, чтобы вы оставили меня в покое. Статья об итальянской кампании стоила мне большого труда. Она тщательно документирована и, льщу себя надеждой, написана со здравомыслием и ясностью. И не клевещите на меня; я действительно просматривал эти книги по мере их поступления. И честно могу сказать: ни единого известного факта они не меняют. А теперь, в довершение всего, вы приволокли мне свеженькую, прямо из типографии, эпическую поэму в пятьсот страниц об унылых похождениях сэра Краудсона Гриббелла, абсолютно ничем не примечательного офицера. Единственная его претензия на славу — он подготовил и осуществил операцию по форсированию реки Риццио, преодолев сопротивление намного уступающих в численности войск противника.

— Нет, Джон, вы просто невозможны, — рассмеялся Хеджиз.

Взяв книгу Гриббелла, Отфорд с отвращением посмотрел на обложку.

— Что за нелепая обложка, Филип, вы только взгляните! Физиономия до того безликая, что ее и забыть невозможно, на фоне горящих танков и бегущих солдат. По

* Монти — прозвище английского фельдмаршала Монтгомери (1887—1976); командовал во время второй мировой войны рядом операций на африканском и европейском театрах военных действий. (*Здесь и далее — примечания переводчика.*)

всей вероятности — его собственных. И название: «Таков был приказ». Блистательно двусмысленная фраза. Нет сомнения: если события разворачивались в его пользу, он может отметить, что успех операции определялся выполнением его приказов. Если же обстоятельства складывались против него, он всегда может пожать плечами, сказать: «Что ж, таков был приказ» — и обвинить тех, кто руководил им и с чьей глупостью он не имел власти бороться. Отличное название, если вдуматься. И типично армейское. Оно ничего не значит и в то же время означает все. И красноречиво, и ни к чему не обязывает автора. В общем, Гриббелл заслуживает за это название высшего балла с плюсом. Оно звучит как вопль триумфа в звуконепроницаемой комнате.

— Для военного историка вы на редкость циничны.

— Милый мой, да разве можно быть военным историком, не став циничным? Будь у меня больше времени и меньше природной лени, я написал бы труд увесистый, как десять энциклопедий, посвященный исключительно ошибкам полководцев. Наполеон, Блюхер *, Мальборо **, Ней *** — все они допускали вопиющие и непростительные просчеты.

— Вы справились бы лучше?

— Разумеется, нет, — мило улыбнулся Отфорд. — Поэтому я и не солдат, а военный историк.

Хеджиз решил попробовать снова. Он стал очень серьезен:

— Ну так как, Джон?

— Почему вы не попросите кого-нибудь еще?

— Потому что если уж вы беретесь за дело, то оказываетесь не только проницательным ученым, но и захватывающим воображение писателем.

* Блюхер Гебхард Лебрехт (1742—1819) — прусский генерал-фельдмаршал; в 1813—1815 гг. командовал прусской армией в войне с Францией.

** Мальборо Джон Черчилл (1650—1722) — герцог, английский полководец и государственный деятель.

*** Ней Мишель (1769—1815) — маршал Франции, участник революционных и наполеоновских войн.

— Перестаньте мне льстить.

— И не вздумайте даже говорить мне, что у вас нет на это времени. Каждый раз, приходя сюда, я застаю одну и ту же картину: вы сидите в кабинете, уставившись в окно, с таким видом, будто вините весь род человеческий за то, что не находитесь сейчас на юге Франции.

Джон усмехнулся. Он узнал свой портрет.

— Быть хранителем коллекции оружия и доспехов в великом музее — веселого мало, — заметил он. — Всего-то дел — содержать реликвии в чистоте и порядке. Всю работу за меня уже выполнили греки, египтяне, римляне и прочие. Мне не осталось ничего творческого. Предыдущие поколения кураторов собрали коллекцию, а теперь, при нынешних финансовых строгостях, у меня нет средств на приобретение чего-нибудь нового. Самое трудное в моей работе — не заснуть.

— Значит, вы признаете, что время на другую работу у вас есть.

— Признаю, — сказал Отфорд. — Время у меня есть. Но нет желания.

В эту минуту, постучавшись, вошел мистер Поул. Это был старик, обязанный присматривать, чтобы воинственные дети не утащили из музея ятаганы и алебарды. Он носил темно-синий форменный костюм с золотыми коронами на воротнике.

— Эта женщина опять здесь, сэр, — сообщил он.

Отфорд покраснел:

— Отошлите ее.

— Никак не уходит. И мистер Элвис, и сержант Оуки пытались — уговаривали ее уйти, но она чрезвычайно настойчива, мягко говоря.

— Скажите ей, я уехал.

— Она видела вашу машину, сэр.

— Откуда ей известно, что это моя машина?

— Не знаю, сэр, но она сказала, машина — ваша, и мне некуда было деваться. Ей известен номер. «Ка Икс Эр — семьсот пятьдесят девять».

Хеджиз рассмеялся.

— Женщина? — спросил он. — О, пожалуй, я могу заставить вас переделать статью с помощью шантажа. Джин знает о ней?

— Это вовсе не шуточное дело, — буркнул Отфорд. — Она мне уже целых два дня житья не дает. Каждые четверть часа то звонит по телефону, то пытается прорваться ко мне лично.

— Но кто она?

— Провалиться мне, если знаю. Какая-то миссис Аллен, или Олбэн, или как там еще.

— Миссис Олбэн, — сказал мистер Поул. — Некая миссис Элэрик Олбэн.

— Я уйду через служебный ход, Поул, — сказал Отфорд. — А вы, пожалуй, попросите сержанта Оуки подогнать машину к Тридингтон Мьюз.

— Но как же мне быть сейчас, сэр? — спросил Поул. — Бедная дама выглядит очень огорченной. Она сидит в этрусском зале. Мне пришлось принести ей стакан воды.

— Проявите инициативу, Поул, — туманно ответил Отфорд.

Хеджиз был явно озадачен.

— Но почему вы так боитесь ее, Джон?

— Она говорила по телефону абсолютно истерично и бессвязно.

Хеджиз улыбнулся:

— Я-то думал, нечто подобное случается только с кинозвездами или певцами. Что она хочет, если не секрет?

— Это великий секрет. Она оставила его при себе. Я не понял ни единого слова, кроме того, что дело как-то связано с ее мужем.

— Мужем?

— Странно, — неожиданно сказал Поул, во все глаза разглядывая автобиографию сэра Краудсона Гриббелла, которую Отфорд положил обратно на стол. — Каждый раз, когда она приходит сюда, она сжимает в руках эту книгу.

— Вы уверены? — спросил Отфорд.

— Абсолютно.

— Что-то не очень подходящее чтиво для истеричной женщины, — заметил Хеджиз. — Какого она возраста?

— Я бы сказал, ей за пятьдесят, сэр.

— Может, одна из любовниц, брошенных Гриббеллом в Старом Дели? — буркнул невольно заинтригованный Отфорд.

— Как, вы сказали, ее имя? — переспросил Хеджиз.

— Олбэн. Миссис Элэрик Олбэн, — ответил Поул.

В наступившей тишине Хеджиз открыл книгу и просмотрел указатель имен. Внезапно он изумленно поднял брови.

— Что там такое?

— Олбэн, бригадный генерал, Элэрик. Впоследствии полковник. Страница триста сорок семь. Бригадный генерал, впоследствии полковник. Занятно.

Хеджиз нашел триста сорок седьмую страницу и прочистил горло.

— «Двадцать девятого ноября, — прочитал он, — после того как моя дивизия уже больше месяца удерживала позиции по реке Риццио, произошло одно из тех редких событий, что бросают тень на карьеру солдата и вынуждают его принимать решения, при всей своей неприглядности необходимые для успешного исхода кампании...»

— Что за напыщенный осел, — перебил Отфорд. — Я прямо слышу, как он диктует это.

— «Вечером двадцать восьмого числа я вернулся легким самолетом в расположение своих войск после продолжительного совещания с генералом Марком Кларком, который интересовался, считаю ли я возможным перейти в наступление на противника всеми имеющимися у меня силами совместно с польской дивизией на моем правом фланге. Атака предполагалась на очень узком участке фронта с целью форсировать реку и захватить перекресток дорог в Сан-Мельчоре-ди-Стетто, тем самым рассекая коммуникации противника в жизненно важном пункте. Польский генерал изъявил готовность участвовать в атаке, но я возразил против нее, полагая, что наши части были в состоянии лишь

удерживать занимаемые позиции, пока мы не подтянем тылы, чтобы обеспечить успех операции. Разведка установила наличие на северном берегу подразделений двух дивизий противника — триста восемьдесят первой и отборной гренадерской Великого курфюрста; естественно, я был категорически против бессмысленных потерь личного состава, неизбежных при таком поспешном и неподготовленном наступлении против значительных сил противника. Американский генерал, правда сохраняя вежливость, выказал чрезвычайную настойчивость, пытаясь заручиться моей поддержкой, и мне отнюдь не помогло ретивое и не лишенное хвастовства отношение к его плану польского генерала, проявившего абсолютно неуместное бахвальство. Обещав генералу Кларку дать ответ в течение суток, я вернулся в мою штаб-квартиру в деревне Валендаццо. Мой отъезд произошел в несколько неприятной, хотя и сдержанной атмосфере. Прибыв в Валендаццо, я немедленно пригласил на обед командиров бригад. Также присутствовали мой адъютант Фредди Арчер-Браун и мой начальник разведки Том Хоули. Бригадный генерал Фулис всецело одобрил мой план. Единственные возражения поступили от бригадного генерала Олбэна, офицера, имевшего блестящую репутацию храбреца, но известного еще и определенной невыдержанностью и буйством характера. За обедом бригадный генерал Олбэн проявил крайнюю враждебность и заявил, что я не отдаю себе отчета в своих действиях. В глубоком возмущении он покинул штаб-квартиру и следующим утром, действуя исключительно по собственному усмотрению, начал наступление на своем участке без поддержки артиллерии. Хотя двум ротам удалось форсировать реку и захватить незначительный плацдарм на вражеском берегу, потери оказались столь велики, что я был вынужден приказать им отойти на исходные позиции. Рассмотрев дело бригадного генерала Олбэна, военно-полевой суд понизил его в звании до полковника и уволил в отставку. Столь мягкое наказание стало возможным лишь благодаря его репутации человека высокого личного мужества».

Наступило молчание. Отфорд нахмурился.

— Не хотите ли принять ее теперь, Шерлок *? — спросил Хеджиз.

— По всей вероятности, Гриббелл пишет правду, — ответил Отфорд.

— Вот уж не похоже на вас!

— Поул, пригласите даму сюда.

Покинув кабинет, Поул тут же вернулся.

— Она ушла, — сказал Поул.

В телефонной книге не нашлось и следа Элэрика Олбэна, поэтому вечером Отфорд отправился не домой, а в некий клуб на улице Сент-Джеймс. Он пробовал притвориться перед самим собой, будто едет туда, просто чтобы выпить немного, но на самом деле в нем проснулся дух искателя приключений. Это был один из тех клубов, куда он прошел довольно давно, но где бывал очень редко: слишком уж он напоминал Отфорду закрытую частную школу, в которой он учился. Члены клуба, большей частью военные — вышедшие на пенсию по старости лет, с примесью тех, кто состарился преждевременно, — так и не сумели освободиться от привычки к иерархии, свойственной их по-школярски построенной жизни. Они сидели вокруг в глубоких креслах с враждебным видом, пытаясь определить свое истинное место при нынешнем порядке вещей по оттенкам подобострастия или высокомерия на лицах их коллег.

Войдя в клуб, Отфорд оставил шляпу в гардеробе и прошелся по просторным апартаментам, как бы ища кого-то. Вокруг, словно в церкви, слышалось журчанье приглушенных разговоров. Ковер поглощал звук его шагов. Он увильнул от бара — там сидело не менее трех печально прославленных зануд, высматривавших жертву, как проститутки в кабачке. Отфорд заметил Леопарда Бейтли, одиноко сидевшего в читальне и разглядывавшего журнал, посвященный скачкам. Леопард — генерал-майор действительной служ-

* Намек на сыщика Шерлока Холмса, прославленного героя книг А. Конан Дойла.

бы — был неплохим малым. Он обладал лихорадочным воображением военного и достаточным частным состоянием, чтобы позволить себе высказывать из ряда вон выходящие мысли и сделать из службы хобби. Своим весьма грозным прозвищем Бейтли был обязан не столько выдающимся проявлениям отваги, сколько кожному заболеванию, которым страдал с юных лет.

— Добрый вечер, сэр.

Леопард поднял взгляд и улыбнулся.

— Не часто мы имеем удовольствие видеть вас здесь, Отфорд.

— Можно посидеть с вами?

— Сделайте милость. Я всего лишь убиваю время, но вижу, мне плохо это удается.

Потягивая виски с содовой, Отфорд спросил Леопарда, знавал ли тот когда-нибудь бригадного генерала Олбэна.

— Элэрик Олбэн? — нахмурился Леопард. — Да. Неприятная вышла история. Хотя он сам все время напрашивался. Иначе и кончиться не могло.

— Он был плохой солдат?

— О нет, напротив, чересчур хороший. А чересчур — это всегда слишком много, чтобы хорошо кончиться, если вы меня понимаете. То, что случилось с ним, едва не случилось и со мной, причем не раз. И потом, я не знаю, действительно ли он чрезмерно пил, мы не настолько хорошо были знакомы, но он вечно казался пьяным. Когда ни встретишь его — язык заплетается, глаза мутные, буянил, как черт. Я думаю, у него была аллергия на глупость, но если у вас аллергия на глупость, да еще в армии, вы запьете и обязательно сорветесь в самый неподходящий момент, а в конце концов обнаружите, что стали озлобившимся брюзгливым штатским.

— Думаете, это случится и с вами?

— О господи, конечно же нет. У меня глупость не вызывает аллергии, она забавляет меня. Я-то, пожалуй, дослужусь до фельдмаршала.

После небольшой паузы Отфорд спросил Леопарда:

— Вы случайно не читали книгу Гриббелла?

— Книгу Гриббелла, говорите? Вот уж не думал, что этот тип умеет писать.

— Кто-то, наверно, написал за него.

— Нет, у меня есть более интересные занятия, чем пускаться в странствия ради открытия абсолютно посредственного ума.

Экземпляр «Таймс», развернутый напротив Отфорда и Леопарда, опустился, и собеседников смерил взгляд, примечательный отсутствием всякого выражения.

— Мы как раз обсуждали вашу книгу, сэр, — запинаясь, произнес Отфорд.

— Мою книгу? Да она вышла два дня назад.

— Но я почти всю ее уже прочел, — сказал Отфорд.

— Захватывающая книга, не так ли! — Гриббелл не спрашивал, Гриббелл утверждал.

— Я не читал ее, — заявил не без раздражения Леопард.

— Что вы?..

— Я ее не читал.

— Думаю, она вам понравится, Бейтли, очень уж хорошо читается.

Закусив губу, Отфорд ринулся в атаку:

— Описание переправы через реку Риццио представляет итальянскую кампанию в совершенно новом свете.

На лице Гриббелла появилось почти добродушное, даже благодарное выражение. Он отложил свою газету.

— Вы военный, сэр? — спросил он.

— Я историк.

— Военный историк?

— Да. Мое имя — Джон Отфорд.

Гриббелл пропустил слова Отфорда мимо ушей. Казалось, он слышал лишь то, что хотел услышать, и, пока Джон представлялся, генерал уже обдумывал следующую фразу.

— Знаете, — начал он, — некоторые из вас, историков, чертовски несправедливо обошлись кое с кем из нас, бедолаг, которые и вынесли на своих плечах настоящие сражения.

— Но разве не правда, что некоторые из вас, военных, чертовски несправедливо обошлись друг с другом? Прочи-

тав все, что написали Айк *, Кровь и Кишки **, и Монти, и Омар Брэдли, я удивился, как мы вообще выиграли войну.

Гриббелл пропустил мимо ушей и это.

— Никто ведь так и не понял, — продолжал он, — что, не форсируй я тогда под рождество Риццио, сидеть бы нам в Италии по сей день. — Он улыбнулся тусклой улыбкой и, казалось, готовился принимать поздравления.

— Но что было бы, перейди вы в наступление, когда хотел Марк Кларк?

Гриббелл расценил этот вопрос как проявление наглости.

— Любезный юный сэр, — сказал он на удивление злобно, — согласись я с этим планом, я бессмысленно потерял бы две тысячи человек.

— А если бы вы поддержали атаку бригадира Олбэна?

Гриббелл вскочил, словно ему дали пощечину.

— Я пришел сюда не для того, чтобы подвергаться оскорблениям, — произнес он чопорно. — Могу я узнать, вы — член нашего клуба или находитесь здесь как гость?

— Я — член клуба, — спокойно ответил Джон.

— Весьма сожалею слышать это.

И Гриббелл величаво удалился.

— Выдали ему на все сто, — пробормотал Леопард.

Но тут Гриббелл неожиданно вернулся к ним.

— Есть определенные вещи, которых не вставишь в книгу во избежание иска за клевету, — сказал он более разумным тоном. — И я не мог упомянуть об одном обстоятельстве, связанном с атакой Олбэна. Он был пьян. И возглавлял атаку, одетый в пижаму.

Отфорд вел машину, находясь под сильнейшим впечатле-

* Айк — прозвище американского генерала Эйзенхауэра (1890—1969), командовавшего экспедиционными силами союзников в Западной Европе; впоследствии главнокомандующий силами НАТО (1950—1952), президент США (1953—1961).

** Кровь и Кишки — прозвище американского генерала Паттона, отличавшегося крайней невыдержанностью характера; командовал соединениями во время кампаний в Северной Африке и Западной Европе.

нием от случившегося. И ему лишь ценою больших усилий удавалось следить за сигналами светофоров. Почему упоминание имени Олбэна вызвало столь несоразмерный гнев у генерала Гриббелла? И зачем было генералу так впечатляюще, пусть и банально, обставлять свой уход лишь затем, чтобы тут же испортить эффект, вернувшись с довольно-таки рациональным объяснением поведения Олбэна? Какое странное значение придал генерал всему эпизоду неумеренным проявлением гнева и непрошеным объяснением его!

Поставив машину на стоянку, Отфорд хотел было выключить фары, но ему показалось, что рядом с изгородью, метрах в трех от него, стоит какая-то женщина. После минутного колебания Отфорд все-таки выключил фары, вышел из машины и запер дверь. Он подождал немного. Ему послышался скрип каблука по гравию, и снова все смолкло.

— Миссис Олбэн! — позвал он.

Молчание.

Джон снова открыл дверь, сел в машину, повернул ключ зажигания и медленно поехал вперед в кромешной тьме. Внезапно он включил фары, и лучи света поймали жалко выглядевшую, бледную женщину. В руках она сжимала книгу Гриббелла. Отфорд притормозил, открыл дверь и сказал возможно непринужденней:

— Не хотите ли чего-нибудь выпить, миссис Олбэн?

— Почему вы все время избегаете меня? — выпалила та.

— Я не понял, кто вы.

— Вы смеетесь надо мной!

— С какой стати мне над вами смеяться? — слегка растерялся Отфорд. На миг оба умолкли, не зная, что сказать. — Прошу вас, заходите в дом, мы сможем там поговорить спокойно.

Джин Отфорд пришла в ярость: муж не только не позвонил предупредить, что опоздает к ужину, но, явившись наконец, привел с собой какую-то растрепанную особу, очень смахивающую на побродяжку.

Ужинали в молчании. Барьер злости разделил жену и му-

жа, а замечания миссис Олбэн — что еда, мол, великолепна, но она вовсе не имела намерения оставаться на ужин, это Отфорд настоял, а теперь она пропустила последний поезд с пересадкой на Саннингдейл и не знает, что делать, — лишь подогревали возникшую глухую распрю.

После кофе Джин стремглав выскочила из комнаты, не обронив ни слова, и Отфорд обратился к миссис Олбэн.

— Скажите, — спросил он, — почему вы так настойчиво звонили мне и преследовали меня последние два дня?

— Боюсь, ваша жена не очень мною довольна, — робко заметила миссис Олбэн.

— Нет, это мною она не очень довольна, пусть даже вы и дали к этому повод. Я хотел бы, чтоб вы ответили на мой вопрос.

— Вы знакомы с моим мужем? — спросила она, явно пересиливая себя. Миссис Олбэн была женщиной весьма нервической и не очень привлекательной.

— Нет.

— И думаю, не читали еще эту книгу?

— Почему, я прочел ее.

— Вот как.

Она замолчала. Отфорд знал наперед, что ему предстоит услышать, но миссис Олбэн нужно было обдумать, как изложить свое дело, а это требовало времени. Она была жалкой: налитые кровью глаза и растрепанные седые волосы делали ее похожей на старую каргу.

— Тогда вы читали и о бригадном генерале Олбэне.

— Да.

— И поверили этому?

— У меня нет оснований не верить.

Миссис Олбэн заплакала; но как ни странно, слезы казались до того естественной деталью ее лица, что не вызывали почти никакого сочувствия.

— Это несправедливо! — вскричала она. — Чудовищно несправедливо!

— Вы разве были там? — спросил Отфорд, несколько

удивленный собственным бессердечием. Поразительно, но эта женщина вызывала у него не жалость, а раздражение.

— Конечно, меня там не было, но я знаю Рика! Я знаю своего мужа!

Столь бурный протест пробудил у Отфорда смутное чувство вины, но он лишь потупил взгляд и ждал. В конце концов, почему он должен помогать выбираться из долгих, невыносимых пауз женщине, съевшей его ужин и ставшей причиной его ссоры с женой?

— Я знаю своего мужа и знаю Крауди Гриббелла.

— Вот как? — пытливо взглянул на нее Отфорд. — Где вы встречались с ним?

— В Индии, в Месопотамии. Я знаю и его, и Флору. С Флорой мы учились в школе. Мы — дальние родственницы.

— Флора? Миссис Гриббелл?

— Леди Гриббелл, — поправила миссис Олбэн. В Англии положено воздавать должное даже врагам. — Одна из самых жадных, эгоистичных, самоуверенных женщин, каких только видел белый свет.

Да, даже врагам следует воздавать должное.

Миссис Олбэн провела рукой по лицу, как бы пытаясь начать заново.

— Крауди был на два года старше Рика, но Рик очень быстро обошел его по службе. Муж получил орден «За безупречную службу» и офицерские погоны в семнадцатом, когда ему было всего восемнадцать лет. В двадцать четыре года он уже служил в чине капитана в Индии, а Крауди был всего-навсего заштатным лейтенантом первого батальона своего полка, стоявшего на севере Англии. В начале тридцатых годов они вместе служили в районе Мадраса. Из всех майоров британской армии младше Рика возрастом был только один человек. А Крауди занимал капитанскую должность, командуя пехотной ротой. К началу войны мужу исполнился сорок один год. Он был подполковником, командиром бронетанкового полка. Крауди тогда было сорок три. Все еще капитан и поговаривал об отставке. Рик попал

в плен под Дюнкерком *, но сумел бежать. Это был один из самых дерзких побегов из плена за всю войну; но Рик никогда не писал о нем и не желает даже говорить об этом. Зимой сорокового года он вернулся в Англию, полный идей, как нанести немцам наиболее чувствительный и сильный удар. В сорок первом он возглавил рейд восьми добровольцев на Нормандские острова, где захватил ценнейшие трофеи. За этот рейд его одновременно и отметили, и наказали.

— Почему? — спросил Отфорд.

— Он заранее никого не поставил в известность о своей операции. Позже в том же году Рик получил танковую бригаду в Эфиопии и, уйдя далеко вперед от основных сил, взял в плен шестерых итальянских генералов со всеми их войсками. В сорок втором году поговаривали, не дать ли ему дивизию, но, увы, этого не случилось. Вечно он выходил из себя и ссорился не с теми, с кем надо, даже с «Верзилой Вильсоном», военным министром. Его перевели на канцелярскую должность в министерство обороны, и он оставался там, пока не получил двести сорок первую бригаду. Но к тому времени Крауди Гриббелл уже пролез наверх свойственным ему неприметным образом, и бедняга Рик оказался под началом человека, с которым менее всего вообще хотел бы иметь дело.

— Они ненавидели друг друга?

— Не думаю, что Рик действительно ненавидел Крауди. В прошлом у них бывали очень ожесточенные стычки, но Рик — человек немстительный. Он скорее ненавидел не самого Крауди, а все, что тот собой олицетворял: тупость, боязнь риска, раболепие. «И за каким чертом такому человеку идти в армию?» — вечно спрашивал Рик.

— Ответ один — чтобы стать генералом, — сказал Отфорд. Эта гарнизонная дама изрядно раздражала его. —

* Имеется в виду операция (26.V—4.VI 1940) по эвакуации в Англию англо-французских войск, окруженных немцами в районе французского порта Дюнкерк. Просчеты гитлеровского командования, а также героизм английских и французских моряков и летчиков дали возможность эвакуировать значительную часть войск.

Но объясните, пожалуйста, почему желание оправдать вашего мужа привело вас ко мне?

— Я нашла ваше имя в оглавлении энциклопедии в публичной библиотеке. Вы писали об итальянской кампании. Видите ли, Рик никогда не напишет книги. Да и напиши он ее, никто его книгу не издаст. Но вы — авторитетный писатель, которого читают все. Ваши труды — часть официальной истории.

В этот самый момент в комнату ворвалась Джин. Она была в ночной рубашке и халате.

— Идешь ты спать? — спросила она.

Отфорд почувствовал минутное искушение взорваться, но вместо этого ответил весьма непринужденно:

— Сию минуту, дорогая. Вот только отвезу миссис Олбэн в Саннингдейл.

Джин сама мысль о поездке в Саннингдейл среди ночи показалась настолько нелепой, что чуть было даже ее не развлекла. И она просто захлопнула дверь.

Поездка оказалась куда более долгой, чем полагал Отфорд, и всю дорогу миссис Олбэн монотонно бубнила, изливая горькие чувства полковой леди Макбет. Она без конца возвращалась к несправедливости, постигшей ее мужа, но не смогла привести ни единого довода в пользу того, что Гриббелл в своих действиях был не прав.

Когда наконец машина подъехала к низкому, невзрачному домику, в котором, по ее словам, жила миссис Олбэн, входная дверь была открыта и на фоне освещенной прихожей вырисовывалась тощая, долговязая фигура.

— О господи, — пробормотала искренне встревоженная миссис Олбэн.

— Где тебя черти носят? — заорал полковник.

— Мистер Отфорд был настолько любезен, что отвез меня домой, — нервно отвечала жена.

— Отфорд? Вы и есть тот напыщенный индюк, который написал всю эту высокопарную дребедень в энциклопедии об итальянской кампании?

— Откуда ты знаешь? — спросила в изумлении его жена.

— Да, — сказал Отфорд.

— И я полагаю, — продолжал полковник, — моя жена извела вас слезливыми россказнями обо мне.

Отфорд посмотрел на миссис Олбэн и впервые, пожалуй, посочувствовал ей, до того она казалась одинокой, брошенной и отчаявшейся.

— Нет, полковник Олбэн, это я ее извел.

— Я вам не верю.

Отфорд вышел из машины. Так, казалось ему, можно будет держаться с бóльшим достоинством. Полковник, заметил он, был в пижаме. Ветерок доносил запах виски.

— Не верите, и черт с вами, — отрезал Отфорд, сам удивившись собственной храбрости. — Но дело в том, что я интересуюсь переправой через реку Риццио и, как историк, намерен получить необходимую информацию из любого возможного источника.

— Интересно, зачем это вы вылезли из машины? — парировал полковник. — Если думаете, что я приглашу вас в дом побеседовать, вы очень ошибаетесь. А если тешите себя надеждой, будто я выскажу вам признательность за то, что доставили мою жену в целости и сохранности, ошибаетесь еще больше. Мне нет никакого дела, где она была, чем занимается и увижу ли я ее снова. То же самое, сэр, относится и к вам.

Внезапно он развернулся, и мощный взмах кулака едва миновал его жену; непонятно — намеренно ли промахнулся полковник или не рассчитал удар. Всхлипнув, миссис Олбэн исчезла в дверях. В соседних домах открылись одно-два окна, и сонные голоса воззвали к нарушителям тишины.

— А теперь, — сказал полковник, — катись отсюда. Убирайся прочь, да поживее.

— Я начинаю верить тому, что рассказал мне сэр Краудсон Гриббелл! — крикнул Отфорд вслед удаляющейся фигуре. — Вас выставили из армии за пьянство.

Повернувшись, полковник медленно подошел к Отфорду и тихо сказал:

— Совершенно верно. Я тогда был пьян как сапожник. И не только пьян, но и по такому случаю одет в пижаму — белую, в тонкую голубую полоску. Я повел бригаду в атаку, нарушив приказ, за что и был вполне заслуженно отдан под трибунал. Генерал сэр Краудсон Гриббелл знал, что делал, а я — нет. Моя опрометчивость обошлась нам в четыреста двадцать четыре убитых и около восьмисот раненых. Вы удовлетворены?

Медленно и не очень твердо он пошел обратно к двери.

— Надеюсь, сэр, вы не станете вымещать недовольство моей глупостью на вашей жене, — только и мог сказать огорошенный Отфорд.

— Это, — ответствовал полковник, — мое дело, так же как и сражение на реке Риццио, — и захлопнул за собой дверь.

Отфорд вернулся домой в четыре утра, усталый, злой и растерянный. Он на цыпочках прошел в спальню и разделся как можно тише. Привыкнув к темноте, он вдруг обнаружил, что жена наблюдает за ним своими большими, явно обиженными глазами. Отфорд был слишком расстроен, чтобы даже попробовать объясниться в столь поздний час, и поэтому, сделав вид, будто ничего не заметил, тихо лежал в темноте, притворяясь спящим.

Наутро за завтраком оба были холодны друг с другом, Отфорду не хватило смелости покончить с этим недоразумением. В напряженном молчании ему почему-то лучше думалось. Он уехал на работу, не попрощавшись с женой.

На работе ему, как обычно, нечего было делать. Он сидел за столом, зевая и озираясь по сторонам. И вдруг принял решение. Позвонив своему приятелю в министерство обороны, он привел в действие архивный механизм — на предмет поиска документов части, где служил Олбэн. Несколько часов спустя, после телефонных разговоров на приличную сумму, которые можно было объяснить или оплатить позже, Отфорд установил, что во время форсирования реки Риццио адъютантом Олбэна был некий лейтенант Гилки, ныне владеющий фермой в Кении, а денщиком Олбэна был рядовой Джек Леннок, который состоит членом Корпуса Комис-

сионеров *. С помощью этой организации Джека Леннока удалось быстро разыскать: он работал в кинотеатре на Лестер-сквер.

Забыв об обеде, Отфорд взял такси и отправился на Лестер-сквер. Взойдя по ступенькам к высокому багроволицему швейцару в ослепительном опереточном мундире, он осведомился о Ленноке. Швейцар поведал ему, что Леннок трудится в конторе наверху, но приходит не ранее трех часов.

Отфорд сидел в кафе-молочной, ел отвратительный хамбургер ** и не мог понять, почему испытывает такое нетерпение.

Все известные ему факты ясно свидетельствовали: никакой тайны здесь нет. Гриббелл и Олбэн соглашались во всем. И Олбэн — обвиняемый — куда энергичнее доказывал свою вину, чем Гриббелл, обвинитель. И тем не менее чутье подсказывало Отфорду, что он на пороге открытия и поиск должен продолжаться.

В три часа Отфорд поднялся в помещение кинокомпании, расположенное над кинотеатром. Леннока он нашел за столом в приемной на восьмом этаже. Тот был в форменном темном костюме с медалями на груди. Когда Отфорд подошел к нему, Леннок поднял взгляд и улыбнулся. У него было приятное, открытое лицо.

— Кого бы вы хотели видеть, сэр? — спросил он.

— Полагаю, что вас.

— Меня?

— Вы — мистер Леннок?

— Да.

Отфорд представился и без обиняков спросил об Олбэне.

Выражение лица Леннока изменилось. Казалось, в глазах его снова вспыхнула былая боль.

— Я всем этим сыт по горло, сэр, — сказал Леннок. —

* Объединение бывших военнослужащих, поставляющее швейцаров, курьеров и т. п. Основано в 1859 году.

** Хамбургер — котлета, рубленый бифштекс в булочке (название по г. Гамбургу).

Да и старик, я думаю, тоже. Я предпочел бы обо всем забыть.

Отфорд протянул ему фунтовую бумажку, тот не взял ее.

— Вы хорошо к нему относились?

— Кто, я? Я в жизни никого лучше не видел. Но его, конечно, надо было знать. У него были свои взлеты и падения, как и у каждого человека.

— Однако он любил заглядывать в бутылку?

Леннок подозрительно и не без гнева взглянул на Отфорда:

— Он не прочь пропустить рюмочку в подходящий момент, сэр, как, наверно, и вы.

— Вы принимали участие в форсировании реки?

— Да, сэр, принимал, — сказал Леннок.

— И были одним из тех, кто переправился на другой берег?

— Мы все переправились на другой берег, сэр.

— Все? Вся бригада?

— Вся бригада.

Отфорд нахмурился.

— И далеко удалось вам продвинуться?

— Это надо спросить у кого-нибудь другого, сэр. Я был ранен в ногу, как только оказался на том берегу, и отправлен в госпиталь. А выписавшись, попал на Дальний Восток с нашим восьмым батальоном и никого из ребят больше никогда не видел.

— Вы поддерживаете контакты с кем-нибудь из бывших сослуживцев, кого бы я мог расспросить?

— В Лондоне почти никого из них нет, сэр. Разве что старшина третьей роты Ламберт. Он заведует турецкой баней при мотоспортивном клубе, в конце Джермин-стрит. С ним я иногда встречаюсь.

В этот момент в приемную вошел кто-то из служащих кинокомпании и позвал Леннока.

— Извините, сэр, я сейчас же вернусь, — сказал Леннок и ушел.

Отфорд не стал дожидаться его возвращения. Он вышел

на улицу, подозвал такси и направился в мотоспортивный клуб. Войти в него не члену клуба оказалось целой проблемой, но принадлежность Отфорда по меньшей мере к одному из других престижных клубов помогла убедить секретаря. После совершенно излишних объяснений Отфорда препроводили в турецкую баню и представили старшине Ламберту, маленькому жилистому человечку. В его облике проскальзывала резкость, от которой даже при самой чистой совести становится не по себе. Ламберт был одет в белое с головы до пят, движения его были упруги, как у инструктора по физической подготовке.

Не теряя времени; Отфорд начал расспрашивать его.

— Не уверен, обязан ли я отвечать на ваши вопросы, сэр, поскольку не знаю наверняка, вправе ли вы задавать их.

— Но должны же вы иметь свое мнение, — сказал Отфорд, которому претила напыщенность людишек, упивающихся своей приниженностью.

— Я могу иметь свое мнение, сэр, но это не значит, что я имею разрешение высказывать таковое когда угодно, если вы понимаете, что я имею в виду.

— Нет, не понимаю. — Джон почувствовал раздражение.

— Что ж, позвольте сказать так. Я не знаю, рассекречено все случившееся с нами при форсировании реки Риццио или нет.

— Кто-нибудь говорил вам, что эти сведения засекречены?

— Никто не говорил мне, что они рассекречены, — лукаво ответил бывший старшина в полной уверенности, что выиграл очко в споре. О боже, какой идиот!

— Вы знали бригадного генерала Олбэна?

— Полковника Олбэна, сэр.

— Если вам угодно быть невеликодушным.

— Я всего лишь точен, сэр.

— Как по-вашему, он был хорошим офицером?

— Мои отзывы не в счет, сэр. Имеют значение, во-первых, послужной список и заключение военно-полевого суда — во-вторых.

— Вы согласны с приговором суда?

— Не мое это дело — соглашаться или не соглашаться с приговором суда; я должен его выполнять.

— О господи, но ведь все происходило на ваших глазах!

— Вот именно, — ответил бывший старшина.

Вызывающий тон его покоробил Отфорда, и все же он решил предпринять новую попытку:

— Вы форсировали реку двадцать девятого ноября. Это общеизвестно.

— Должно быть, так, сэр, раз вы это знаете.

— Как я понял, через реку переправился целый батальон, прежде чем был получен приказ отходить.

— Этого я не могу вам сказать, сэр.

— Кому вы, по-вашему, поможете, если скажете? — вскричал Отфорд. — Немцам? Но они теперь на нашей стороне и жаждут всячески помочь нам.

— Почему вам тогда не обратиться к ним?

— Ей-богу, это идея!

Старшина утратил выдержку. Мысль о том, что он мог подать Отфорду идею, ужаснула его.

— Что вы намерены предпринять, сэр? — спросил он, прикрыв глаза, как в мелодраме.

— Я намерен воспользоваться вашим советом и узнать правду у немцев.

— Но я вовсе вам этого не советовал!

— Нет, советовали! — отвечал Отфорд. — Вы сказали: «Почему вам тогда не обратиться к ним?»

— Я не совсем это имел в виду, сэр. Но если вы хотите получить необходимые сведения, я буду вам весьма признателен, если вы свяжетесь с майором Энгуином. Он принял батальон после гибели нашего старика, полковника Рэдфорда. — Теперь старшина так разволновался, что у него перехватывало дыхание.

— Вот это уже лучше, — сказал Отфорд. — Майор Энгуин, говорите? Где я могу его найти? Вы знаете?

— Так точно, сэр. Мы до сих пор обмениваемся открытками на рождество, сэр. Он теперь занимается перевозками

на грузовиках, сэр, в Линкольне. Фирма «Братья Энгуин».

— Большое спасибо.

Отфорд протянул фунтовую бумажку, которую бывший старшина взял с легким поклоном.

Отфорд вернулся в музей около половины пятого и обнаружил, что никто ему не звонил и никто его не спрашивал. Взгляд его упал на книгу «Таков был приказ».

«Хотя двум ротам удалось форсировать реку и захватить незначительный плацдарм на вражеском берегу, потери оказались столь велики, что я был вынужден приказать им отойти на исходные позиции», — снова прочитал он.

И все же, по словам Леннока, через реку переправилась вся бригада. Возможно, Леннок был не в том положении, когда можно все знать точно? А может, не в том положении был и сам Гриббелл?

Отфорд без труда нашел номер фирмы «Братья Энгуин» в Линкольне и вскоре уже говорил с майором Энгуином по междугородному телефону. Судя по голосу, Энгуин воображал себя прирожденным руководителем людей и грузовиков.

— Олбэн? — переспросил он. — Я этого типа терпеть не мог. Донельзя дурно воспитан, чертовски тщеславен да к тому же еще и с причудами. Носил фуражку задом наперед и принимал парады в пижаме. Вам, безусловно, знаком подобный тип людей. Вечно выламываются как могут. Но должен вам сказать, солдаты пошли бы за ним в огонь и в воду. Он их завораживал. И умел веселить. Они считали его чокнутым и при нем не скучали ни минуты, это уж точно. Но в офицерском собрании он был сущим бедствием.

— Пил?

— Да, но держался великолепно, сколько бы он ни выпил. Никогда не встречал человека, который умел бы так пить, не теряя контроля над собой. Просто невероятно. И всегда сохранял ясность ума.

— Вы когда-нибудь сталкивались с сэром Краудсоном Гриббеллом?

— Да, еще одна совершенно отвратительная личность. Но, разумеется, полная противоположность дикарю Олбэну — вылитый полковник Блимп *. В жизни своей никогда не рисковал. Ни разу не продвинулся ни на шаг, если не был уверен в успехе и пока дивизии на его флангах не выполнят всю грязную работу. С Олбэном, по крайней мере, не соскучишься, но, заговорив с Зевуном Гриббеллом, вы сию же минуту начнете храпеть.

Занятный тип этот Энгуин.

— Генерал Гриббелл написал книгу.

— Зевун? Я рад, что не вложил в нее денег. И что же он пишет?

— Пишет, что когда Олбэн начал свою атаку, через реку переправились только две роты, и...

— Полная и заведомая ложь. Мой батальон был в резерве, и мы переправились вслед за двумя остальными батальонами бригады.

— Гриббелл называет незначительным захваченный Олбэном плацдарм.

— И вы поверили этому? Целью операции ставился захват деревни Сан... как ее там...

— Сан-Мельчоре-ди-Стетто.

— Вот именно. Так вот, мы заняли ее менее чем через полчаса после начала атаки. Потери были совсем незначительны. Олбэн приказал занять оборону и окапываться и послал сообщение в штаб, просил поддержать бригаду силами дивизии. В ответ он получил лишь приказ отступить. Сначала Олбэн отказался отступать, но в конце концов вынужден был подчиниться. Когда солдаты поняли, что отступают без всякой причины, чуть было не вспыхнул бунт. Наш отход придал фрицам духу, и они открыли убийственный огонь. Девяносто пять процентов всех потерь мы понесли при отступлении.

— О господи!

* Полковник Блимп — персонаж карикатур Дейвида Лоу, популярных в 30-е годы. Стал именем нарицательным, символом косности, шовинизма и мещанства.

— Да, вот как оно было. Так что не принимайте всего на веру. Окажетесь в Линкольне, в любое время буду рад...

Отфорд снова лихорадочно зазвонил в министерство обороны и благодаря своим связям выяснил, что немецкими войсками, противостоявшими дивизии Гриббелла, командовал некий генерал Шванц, который, к счастью, оставался в армии до сих пор и был прикомандирован к штаб-квартире войск НАТО в Париже. Несмотря на поздний час, Отфорд заказал Париж и выяснил, что генерал уже покинул штаб, но его можно найти в отеле «Рафаэль». Тревожно поглядывая на часы, Отфорд заказал разговор с отелем «Рафаэль» и узнал, что генерал Шванц, по всей видимости, уехал в посольство Западной Германии на прием в честь какого-то высокого гостя из Америки. Не колеблясь, Отфорд позвонил в посольство и, припомнив все известные ему немецкие слова, попросил генерала Шванца. Человек, ответивший на звонок, отправился искать генерала, и Отфорд услышал в трубке приглушенный гул голосов, обычный для коктейлей. Неплохо бы, подумал он, и ему сейчас выпить. Наконец в трубке раздался довольно высокий мягкий голос:

— Hallo, hier Schwantz *.

— Вы говорите по-английски?

— Кто у аппарата?

Отфорд объяснил, что он военный историк, и извинился за беспокойство, причиненное генералу в неурочный час. Поскольку немцы питают большое уважение к историкам вообще, а к военным — в особенности, генерал был более чем любезен.

— Я хочу задать вам вопрос о форсировании реки Риццио, сэр.

— Риццио? Да-да. Возможно, я пошлю вам мою книгу... "Sonnenuntergang in Italien" **. Здесь трудно говорить, потому что много шуму.

— Вы написали книгу?

* Алло, Шванц слушает (*нем.*).
** «Закат солнца в Италии» (*нем.*).

— Да. Две недели как вышла в Мюнхене, на немецком, конечно. Я пошлю ее вам.

— Огромное спасибо, сэр. С удовольствием прочту ее. Не могу ли я задать вам сейчас еще один вопрос?

— Пожалуйста.

— Застала ли вас врасплох атака англичан двадцать девятого ноября?

— Абсолютно. Не было никакой артиллерийской подготовки. Мы привыкли, что атаки англичан всегда построены по одной схеме. Артиллерия, а потом, через час или около того, пехота. Тогда было что-то совсем другое. Атаку возглавил офицер в белом. Его костюм походил на пижаму. Он курил трубку и держал в руке британский флаг. Многие солдаты тоже курили, дудели в трубы и горны, били в барабаны. Такую форму атаки мы применяли в первую мировую войну, так называемая «психическая атака». Боевой дух моих солдат был настолько низок, что они покидали свои позиции, почти не открывая огня. Они, видите ли, прибыли из России, и генеральный штаб считал, что после России Италия — это нечто вроде курорта, но там, конечно, тоже было тяжело, хотя и полегче. Некоторые солдаты так перепугались, что приняли эту фигуру в белом за призрак или, как у вас говорят, за труп. И эта странная какофония. Все было очень умно придумано, ничего умнее я на войне никогда не видел, потому что психологический момент был очень правильно выбран. В первую мировую войну мы потеряли много солдат, бросая их в такие атаки против свежих частей противника, у которых был высокий боевой дух. Я не мог спасти наш штаб в Сан-Мельчоре-ди-Стетто, и наша линия обороны была прорвана. Одним из последних моих действий была отправка срочной просьбы о помощи командиру корпуса генералу фон Хаммерлинку, но я знал, что ему придется отдать приказ об общем отступлении: у нас тогда совсем не было резервов. Я имел под моим командованием мелкие подразделения триста восемьдесят первой дивизии — всего, наверно, человек двести; около пятисот гренадеров из дивизии Великого курфюрста, немного по-

жилых солдат из разных запасных частей и около трехсот фанатиков из дивизии эсэс Зейса-Инкварта. Я перемешал их, насколько это было возможно. Если бы британцы взяли пленных, я хотел создать впечатление, что у меня большие силы. Я уже отдал приказ об отступлении на своем участке, чтобы предотвратить полный упадок боевого духа — многие из моих солдат были бессменно на передовой по восемь-девять месяцев, — как вдруг, по причине, которая так никогда и не выяснилась, британцы начали отходить сами. Когда ко мне поступило это сообщение, я сначала не поверил, но приказал атаковать всеми силами. Если солдаты устали и пали духом, надо заставить их действовать активно. Даже безнадежная атака лучше, чем ничего. Через два часа мы вернулись на наши прежние позиции, нанеся противнику тяжелые потери. Я получил «Рыцарский крест» с бриллиантами, но отмечаю в моих мемуарах, что не заслужил его. Ни разу за всю свою службу в армии я не сталкивался с такой необычной и даже таинственной ошибкой, как допущенная в тех обстоятельствах британцами. Ответил ли я на ваш вопрос?

Да уж, немцы — народ дотошный. Для человека, просившего извинения за то, что ему будет трудно говорить прямо с шумного коктейля, генерал Шванц справился с задачей просто великолепно.

— Большое спасибо, герр генерал, — сказал Отфорд. — Вы дали мне более чем исчерпывающую информацию, я позволю себе послать вам мою книгу и надеюсь, вы с ней ознакомитесь.

— Простите?

Генерал почти безупречно изъяснялся по-английски на военные темы, но в обычном разговоре был не так находчив.

— Большое вам спасибо, — повторил Отфорд.

— Спасибо вам, и желаю успехов в вашей чрезвычайно интересной работе.

Отфорд повесил трубку и мрачно улыбнулся.

Он позвонил Филипу Хеджизу и сообщил, что, возможно, придется внести кое-какие изменения в новое издание эн-

циклопедии. Хеджиз был в восторге. Затем Отфорд зашел в цветочный магазин, купил большой букет алых роз и поехал домой.

Его жену успело уже утомить тягостное молчание семейного раздора, вызванного лишь некоторым недомыслием, а вовсе не злым умыслом. Подаренный букет заставил ее расплакаться, настолько поступок этот был не в привычках ее мужа. Вечером в постели Отфорд рассказал ей все.

— Я просто не мог посвятить тебя в это раньше, — объяснил он, — мне и самому все было неясно.

— Я понимаю, — прошептала она, хотя на самом деле ничего не поняла.

Покосившись на нее краем глаза, он усмехнулся.

— Тем не менее мне понадобится завтра твоя помощь. Утром мы съездим повидаться с полковником Олбэном.

— Тебе нужна моя помощь? — Она была польщена.

— И еще как. Если я поеду один, у него может появиться искушение поколотить меня. Но я надеюсь, в присутствии дамы он не отважится на это.

Следующим утром Отфорды выехали в Саннингдейл. К домику полковника они добрались около половины двенадцатого. Днем он выглядел еще более убого, чем ночью. Он был собран из гофрированного железа, унылый вид его кое-как скрашивали побеги винограда и других ползучих растений. И лишь крошечный садик выделялся своей ухоженностью. Отфорд позвонил в дверь. Минуту спустя ее открыла миссис Олбэн.

Казалось, при виде Отфорда она пришла в ужас.

— Кто там еще? — послышался хриплый голос из дома.

Миссис Олбэн не посмела ответить и в смущении замешкалась.

Появился полковник, сжимая в зубах погасшую трубку мундштуком вперед. Он был одет в шорты и толстый серый свитер.

— Какого черта вам надо? — бросил он резко. — Я ведь, кажется, указал вам в прошлый раз на дверь.

— Вы вовсе не указывали мне на дверь, — храбро ответил Отфорд. — Вы даже не предложили мне войти. Разрешите представить вам мою жену Джин.

Олбэн отрывисто кивнул, переводя неуверенный взгляд карих глаз с Отфорда на его жену.

— Может, лучше пригласим их зайти? — осмелилась робко спросить миссис Олбэн.

— Нет. Чего вы хотите?

— Мне известна правда о форсировании реки Риццио, и я намерен предать ее гласности.

— Да ведь правда об этом событии известна всем и каждому.

— Рядовой Леннок так не считает.

— Леннок? Где вы его откопали?

— Неважно.

— Он не может компетентно судить о том, что произошло.

— Ну а старшина Ламберт и майор Энгуин?

— Ламберт — наш худший тип кадрового солдата: приспособленец, подхалим. Что же до Энгуина, это просто упрямый осел, любитель среди профессионалов. Я буду отрицать все, что они ни скажут.

— А как насчет генерала Шванца?

— Генерала Шванца?

Полковник Олбэн улыбнулся еле-еле; такая улыбка — знак признания, что оппонент выиграл очко в споре.

— Входите, — сказал он. — Мадж, не потрудишься ли ты занять миссис Отфорд. Я хочу поговорить с мистером Отфордом наедине. В кабинете.

Джин взглянула на мужа, тот ободряюще кивнул.

— Я наварила варенья, — сказала миссис Олбэн, — с удовольствием вам покажу.

Джин направилась за ней явно без всякого энтузиазма. Это был мужской мир.

Отфорд последовал за полковником.

— Прежде, чем вы начнете разговор, — сказал ему Олбэн, — что вам бросилось в глаза в этой комнате?

— Ну конечно, фантастическая, потрясающая коллекция

растений. Можно сказать, целый полк растений.

— Я согласен на любое собирательное существительное, кроме этого, — в голосе полковника снова зазвучал металл.

— Некоторые из них с Востока, не так ли?

— Да, — сказал полковник, — этот малыш — из Тибета, а этот отвратный уродец — из Кашмира. У меня тут растения со всего мира. И капризные же они, надо сказать. Приходится держать под стеклом, при разных температурах, а в жилом доме это нелегко. Однако при известной смекалке чего только не достигнешь. — Он улыбнулся. — Что вы и доказали.

— И давно вы этим занимаетесь? — спросил Отфорд.

— С тех пор как оставил военную службу. Больше вы ничего здесь не замечаете? Ну скажем, отсутствия чего-то?

Отфорд молча огляделся по сторонам, ища ключ к загадке.

— Дело не в одной какой-то детали, — продолжал Олбэн. — Вам случалось бывать в домах военных людей?

Отфорда вдруг осенило.

— У вас здесь нет ни одной фотографии встреч однополчан, — сказал он, — ни единой воинской реликвии, даже портрета фельдмаршала в рамке *.

— Совершенно верно, — ответил Олбэн. — Теперь мне с вами проще разговаривать. Хотите виски? Больше у меня ничего нет.

— Не рановато?

— Для виски никогда не рано.

Олбэн налил два бокала и протянул один из них Отфорду.

— Можно мне немного...

— Вода его только портит, — ответил Олбэн. — Поехали.

Он присел на складной табурет, предоставив Отфорду сломанное кресло.

— Я хочу уточнить кое-что, — начал Отфорд. — Почему вы были так резки со мной, пока я не упомянул фамилию Шванца? И почему так гостеприимны сейчас?

Полковник рассмеялся и почесал щеку пропитанным ни-

* Речь идет о портрете фельдмаршала Монтгомери, непременном сувенире английских офицеров — ветеранов второй мировой войны.

котином пальцем. Затем начал медленно набивать табаком трубку, обдумывая ответ.

— Ничего на свете я не ценю так, как ум. И восхищаюсь людьми, умеющими вовремя прислушаться к своей интуиции. Это ведь тоже свидетельство ума. Вы, пожалуй, именно так и поступили. И доказали мне, что вы не какой-нибудь олух, падкий на сенсации, а человек, учуявший, где тут собака зарыта, и сам, своим умом дошедший до сути. В прошлый раз я сделал все, чтобы обескуражить вас. Я сбил вас со следа, но вы тут же взяли его снова. Я восхищен, теперь вы достойны моего гостеприимства.

Да, по темпераменту судя, Олбэн был прирожденным лидером. И столь безмятежен в своем тщеславии, что на него невозможно было обидеться. Он не спеша раскурил трубку.

— Вы надеетесь услыхать мой рассказ, — продолжал он. — Но вы его не услышите. Все, что я могу для вас сделать, — дать вам возможность приятно провести время.

— И у вас нет никакого желания узнать, что сказал Шванц? — спросил Отфорд.

— Нет. Он несомненно сказал правду. По мне, лучше бы он ее не говорил.

— И вы согласны оставить неоспоренной версию событий, изложенную Гриббеллом?

— О да. — Ответ Олбэна прозвучал чуть ли не пренебрежительно. Подняв взгляд, он увидел недоуменное лицо Отфорда и громко рассмеялся. — Мои начальники испортили меня. Я ведь на самом деле был этаким переростком-бойскаутом, а в те времена именно это и ценилось в армии. Балканская кампания в конце первой мировой войны была для меня сущим развлечением со всеми этими капризными французскими офицерами, сербами, преисполненными собственного достоинства, болгарами с их уязвленными национальными чувствами и греческими коммерсантами, с очаровательной наглостью делавшими бешеные деньги. Потом, и Индии, я отличился умением блестяще играть в поло, и как следствие — быстрое продвижение по службе. Конечно,

вокруг постоянно гибли люди, но я был молод и смотрел на это как на невезение в игре.

Он замолчал на минуту, разглядывая дымок от трубки.

— Проблемы начались, когда я прибыл во Францию в тридцать девятом. Мне казалось, что я очутился среди величайшего сборища кретинов, столько их сразу я еще никогда не видел. Их глупость была столь сокрушительна, что всякий раз забавляла. Солдаты только и знали, что драили свои пуговицы и с разбега кололи штыками мешки, с неистовым воплем, пугавшим их самих. Впечатление было такое, будто все обучение сводится к одному — сделать людей как можно более приметными для неприятеля. Я возмущался и жаловался, но без толку. Когда фрицы перешли в наступление, мы сделали все, что было в наших силах, чтобы облегчить их задачу. И можем тешить себя мыслью, что проиграли кампанию куда более убедительно, чем немцы ее выиграли.

Эфиопия после всего этого мне понравилась — это было возвращение к войне того типа, которую я любил. Не очень большие потери, пропасть превосходнейших пейзажей и здоровая жизнь на свежем воздухе. Потом Лондон, тепличное существование, завал канцелярской работы: знай перекладывай туманно составленные бумаги из ящичка «входящие» в другой — «исходящие». Я начал уже изнемогать от всего этого, когда меня послали в помощь старому Крауди Гриббеллу. Он пришел в ужас, увидев меня снова после стольких лет, но у него не хватило характера настоять на моем отчислении. Ему всегда не хватало характера, нашему Крауди. Впрочем, я чересчур щедр. Характера у него вовсе нет. И мы просидели на южном берегу паршивой речонки целых два месяца в бездействии, ожидая, когда же противник начнет отступать.

Я прекрасно понимал: фрицы блефуют. Слишком уж большую активность проявляли они на своем берегу, чтобы принять ее за чистую монету. Но старый Крауди на это клюнул. Он смертельно боялся наступления немцев. Тут его вызвали в штаб на ковер. Он вернулся, бледный от гнева.

Его всегда было очень легко обидеть, старину Крауди, чаще всего потому, что он не совсем понимал услышанное и боялся попасть впросак. Он пригласил кое-кого из нас пообедать с ним. Я помню этот обед — просто дьявольский кошмар. Кошмар в любом смысле. Крауди был преисполнен решимости не высовываться и не атаковать немцев и требовал от нас поддержки. «Черта с два я раскрою свои карты раньше бошей * » , — сказал он. Я взорвался, заявил, что стыжусь служить под его началом, и прибавил кучу еще менее благопристойных вещей. В разговорах с ним я всегда перегибал палку, и потому только, что иначе до него бы ничего не дошло. Вернувшись к себе в штаб бригады, я решил испробовать на фрицах один из их же собственных старых трюков. Как только рассвело, первая рота двинулась вперед на очень узком участке фронта. Солдаты шли, вымазав дочерна лица, кто в нижнем белье, кто привязав к винтовкам простыни; курили, колотили в жестянки. Я возглавлял атаку в пижаме, курил трубку и читал на ходу «Иллюстрейтед Лондон ньюс». Мы шумели, как только могли. У одного парня нашлась волынка, набрали еще четыре горна и всяких там губных гармоник. А уж кричали — чертям небось тошно стало. Мы прошли сквозь позиции немцев, как нож сквозь масло, и через полчаса вступили в Сан-Мельчоре-ди-Стетто.

— А каковы были ваши потери?

— Один убитый, четверо раненых. И тут я совершил роковую ошибку. Вместо того чтобы просить поддержки у командира соседней со мной польской дивизии, я послал донесение Крауди. Он ответил, что я арестован, и приказал нам немедленно отходить, заявив: я, мол, погубил запланированную им общую операцию по взятию Сан-Мельчоре. Я ответил, что, поскольку Сан-Мельчоре уже в наших руках, надобность в таком плане отпала. Это только усугубило дело. Он обвинил меня во лжи. И последним приказом, выполненным мною в армии, стал преступный приказ об отступлении. Мы потеряли четыреста двадцать четыре человека. Вот так-то.

* Бош — презрительная кличка немцев, распространенная во Франции.

Олбэн помрачнел от охватившей его боли, потом улыбнулся снова.

— Вот я и сделал именно то, чего, как сам говорил, делать не хотел. Все рассказал вам. А знаете, почему я решился на это?

— Нет.

— Потому что я хорошо разбираюсь в людях. Мой рассказ — цена, которую я намерен заплатить за то, чтоб побудить вас держать все это в тайне.

— Как, вы сами не хотите, чтобы я восстановил истину? — Отфорд сорвался на крик.

— Истина? Что такое истина? — Олбэн налил себе еще виски. — На любом заседании всяческих ведомств, на каждой сессии парламента все прямо лезут вон из кожи, чтоб установить истину и зафиксировать ее в протоколах, а потом в них никто и не глянет.

— Пока не будет подан иск.

— Для возбуждения иска требуется истец. В данном случае его не будет. — Олбэн смерил Отфорда пронзительным взглядом и придвинул табурет ближе к креслу. — Любопытно, поймете ли вы меня, — произнес он очень тихо, чуть ли не благоговейно. — Я всегда хотел детей, а у нас их никогда не было; и ничто не внушает такого почтения к жизни, как стремление дать жизнь и вместе с тем невозможность сделать это. Я понимаю, в этом мире приходится совершать определенного рода поступки и то или иное дарование ко многому обязывает нас. Я был хорошим солдатом. Не знаю, приходилось ли вам наблюдать за игрой в лаун-теннис. Мяч иногда замирает на секунду над сеткой, словно не может решить, на какую же сторону упасть. Есть солдаты, похожие на этот мяч, и я был одним из них. Они либо становятся великими военачальниками, либо их увольняют, потому что они ведут себя как великие военачальники, не имея достаточно высокого ранга, чтобы это сошло им с рук. Именно так было со мной. У меня был талант к воинской службе, и — имей я чуть больше терпения — талант мой провозгласили бы военным гением. Но в глубине

души я не уверен, что так уж пекся о славе, когда перестал служить на передовой; потом стал чересчур уж печься о солдатах, когда лишился права быть среди них. Меня совсем доконало то отступление — проклятое, идиотское, преступное отступление из деревни. Мы потеряли четыреста двадцать четыре человека. Солдаты падали на моих глазах как мухи. Я шел обратно к нашим позициям и надеялся получить пулю в спину. Ничего другого я не заслуживал за трусость, с которой повиновался тупоумным приказам Крауди, вместо того чтобы просто сидеть в занятой деревне и ждать, пока кто-нибудь с крупицей разума в голове и соответствующими галунами на фуражке осознает всю важность нашей победы. Но знаете, в тот момент мне больше всего хотелось махнуть на все рукой. Ведь четыреста двадцать четыре убитых — это не просто четыреста двадцать четыре жизни, загубленных ни за что ни про что, четыреста двадцать четыре так и не успевших состояться человека, четыреста двадцать четыре имени на листке бумаги. Нет, это четыреста двадцать четыре образования, четыреста двадцать четыре интеллекта, четыреста двадцать четыре мира эмоций, четыреста двадцать четыре характера, образа мысли. И — горе восьмисот сорока восьми родителей. А погибли они по одной-единственной причине — из-за антипатии ко мне Крауди Гриббелла.

— Разве это не доказывает мою правоту? — взволнованно спросил Отфорд. — Гриббелл поступил просто чудовищно, а вас вынудили взять на себя вину за преступление, совершенное человеком, присвоившим себе всю славу последующей победы.

— Значит, вы так это поняли? — тихо спросил Олбэн. — Я не согласен с вами, честно говоря, потому что меня это все не волнует. Но я не могу позволить вам вновь растревожить скорбь, дремлющую в сердцах родителей этих ребят, объяснив им, что дети их запросто могли остаться в живых. Пусть уж лучше я останусь виноватым. И знаете почему? У меня достаточно широкие плечи, чтобы нести это бремя. А у Крауди — нет. Для меня эта глава закрыта. Для него — нет. Он потратит всю оставшуюся жизнь, пытаясь оправдать свои

действия из боязни, как бы не выплыла наружу иная версия. А со мной, Отфорд, мои растения, и мне все безразлично. Как чудесно следить за их ростом — листья день ото дня становятся чуть больше, ростки выбиваются из-под земли, тянутся к свету, дышат. Да, это компромисс, но он приносит мне удовлетворение — удовлетворение прекрасное и трепетное. Я устал от смерти, от грязи и слез и от решений, ведущих ко всему этому. Я счастлив. А Крауди — нет. Он сидит в своем унылом клубе и только и ждет, что же случится дальше. Он не может вынести этого. Я — могу. У меня на совести груз поменьше.

— Вы хотите, чтобы я обо всем забыл, — медленно произнес Отфорд.

— Да. Я прошу вас, обещайте мне все забыть.

— Но генерал Шванц написал книгу.

— Кто ее прочтет? Да и кто прочтет книгу Крауди, если уж на то пошло? И кто прочитает ваши статьи? Только друзья, враги да горстка студентов. В масштабе истории мы не так уж важны, и вы, и я. Так забудете?

— Н-да... — Отфорду не хотелось связывать себя обещанием, хотя безмятежное спокойствие Олбэна глубоко взволновало его.

— Я расскажу вам еще кое-что о Крауди, — сказал полковник. — Год назад умерла его жена, а его единственный сын погиб во Франции в последнюю неделю войны. Крауди никогда толком не знал любви и потому не чувствует сейчас ничего, кроме пустоты, ощущения какого-то обмана. Он достаточно глуп, чтобы ожесточиться. Что ж, нельзя долго сердиться на такую несчастную старую пустышку. — Олбэн налил себе третий бокал. — Я читал ваши работы, — продолжал он. — Вы хорошо пишете. У вас хлесткий, злой стиль. Вы намного моложе меня. Но в один прекрасный день вы вдруг поймете, что в каждом человеке есть нечто большее, чем замечаешь с первого взгляда. И вы добавите к написанному вами немного жалости. Вот тогда вы начнете расти, как эти цветы. У вас есть дети?

— Нет, — хмуро ответил Отфорд.

— Вам... ничто не мешает завести их, скажем, сейчас?

— Нет. Просто, пожалуй, было не до того.

— Господи! — взорвался Олбэн. — Вы даже не знаете, чего лишили себя!

— А вы знаете?

— Кому же и знать, как не бездетному родителю, — решительно ответил Олбэн и улыбнулся. — И еще я знаю теперь, мы с вами понимаем друг друга, и для общего блага вы забудете обо всем, кроме моего неповиновения приказу. Солдаты — это дети, которые никогда не становятся взрослыми, Отфорд. Я сейчас становлюсь взрослым. Дайте же мне такую возможность. И, кстати сказать, станьте-ка взрослым сами, пока не поздно, пока вам не отвели еще персонального кресла в этих клубных яслях на улице Сент-Джеймс для впадающих в детство, куда престарелые младенцы приходят умирать.

Провожая Отфорда к двери, Олбэн добавил:

— Я, разумеется, не ударил в ту ночь жену. Никогда не делаю этого. Просто ломал перед вами комедию. Она замечательная женщина, моя Мадж, но до сих пор переживает, как, кажется, сейчас и вы. А я вот не переживаю, и Мадж не может мне этого простить.

— Я, по правде сказать, тоже не могу, — неловко улыбнулся в ответ Отфорд.

В машине на обратном пути Отфорд почти не разговаривал. И поскольку Джин отвратительно провела время, пытаясь вести светскую беседу с миссис Олбэн, в наступившем молчании снова начала собираться гроза.

— Куда ты направляешься? — вдруг спросила Джин.

— У меня дело в городе, — отрывисто ответил Отфорд.

— Тогда завези меня сначала домой.

— Это ненадолго.

Они не разговаривали больше, пока не доехали до улицы Сент-Джеймс, но, видя, как агрессивно Отфорд ведет машину, Джин поняла, что он расстроен.

— Если подойдет полицейский, объясни ему, что я сейчас вернусь, — сказал он, поставив машину у тротуара.

Отфорд взбежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и быстро вошел в гудящие от шепота пещеры своего клуба. Генерал сэр Краудсон Гриббелл сидел на своем обычном месте, уставившись в пустоту. Отфорд пристально глянул на него, охваченный холодной яростью. Голове своей генерал, как всегда, придал странное положение, чуть задрав ее кверху и словно ожидая, не осмелится ли невидимая муха опуститься на его чело. Иных эмоций его облик почти не выражал, если не считать смутного упрямства и уныния — неизменного следствия светского воспитания. Время от времени генерал моргал, и седые его ресницы схватывал солнечный луч. Рядом с ним никто не садился. Он был в одиночестве.

Вошел старый официант с бутылкой шампанского и поставил ее на низкий столик перед генералом.

— У вас праздник, сэр? — спросил официант, откупоривая бутылку и наливая вино в бокал.

— Да, — безучастно отвечал генерал, — день рождения сына.

Отфорд почувствовал вдруг ком в горле и бежал из клуба.

Подходя к машине, он посмотрел на сидевшую в ней жену. Она была прехорошенькая, но годы, пожалуй, чуть-чуть брали свое. А может, выражение лица стало грустнее, чем раньше, плотней сжались губы и поубавилось веселья в глазах.

Он сел за руль и улыбнулся ей.

— Дорогая, — сказал он, — я хочу получше узнать тебя.

Джин рассмеялась, правда, не очень-то счастливо.

— Не пойму, о чем это ты?

Отфорд взглянул на жену, словно видя ее впервые, и поцеловал так, будто они вовсе не были женаты.

Потом в тот же день Джон написал Хеджизу, что не будет вносить никаких изменений в статью. А еще через несколько дней, когда пришла книга генерала Шванца, он позабыл даже распечатать бандероль.

Убийцы

В каком возрасте убийце следует уходить на покой? Этот жгучий вопрос волновал мосье Амбруаза Плажо, вновь назначенного шефа бюро французской сыскной полиции Сюртэ, именуемого отделом депортации. В функции этого отдела входило обеспечение безопасности высокопоставленных иностранных гостей Франции посредством задержания всех потенциальных террористов и временной высылки их в отдаленные места. Оторвавшись от лежавшей перед ним на столе кипы документов, мосье Плажо окинул изучающим взглядом сидящего напротив человека и нахмурил чело.

— Итак, вы утверждаете, что у вас сложились весьма приятные отношения с моим предшественником, мосье Латием?

— О да, мосье. Его отставка была для нас всех тяжелым ударом.

— Для всех? Так вы не один? Сколько же вас?

— Всего шестеро. Члены Интернационала нигилистов.

— Нигилизм перестал существовать еще к концу прошлого века.

— Так кое-кто считает.

Плажо вздохнул. Слова собеседника и забавляли, и интриговали его, но, будучи примерным служакой, Плажо не мог позволить себе выказать ни малейших эмоций. Он снова пробежал глазами документы. Самый древний из них, хрупкий и пожелтевший, был датирован восемнадцатым июля тысяча девятьсот третьего года. К документу была приложена фотография преисполненного достоинства молодого человека, чья длинная шея, увенчанная головой с гривой

пышных черных волос, вырастала из стоячего воротника с бабочкой, который был ему велик на несколько размеров. Звали юношу Братко Звойнич. Продолговатый нервный почерк давно скончавшегося полицейского сообщал, что Звойнич был задержан по просьбе генерального консула Черногории как подозреваемый в принадлежности к террористической организации.

Плажо быстро пролистал остальные документы в досье Звойнича. В тысяча девятьсот десятом году он был снова арестован, на этот раз под именем Бруно Сильберберга.

— Почему вы изменили фамилию на Сильберберг?

— Как, я был и Сильбербергом? Знаете, за свою жизнь я сменил столько имен, теперь и не вспомнишь толком, почему я выбирал именно то или это.

— Понятно.

Глянув поверх очков, Плажо сравнил юношу на фотографии с сидящим перед ним высохшим, сморщенным старым астматиком. Он облысел — ни прядки, ни даже тени волос. Голова его сияла точно полированная и — видно следствие какого-то несчастья — застыла в самом неловком положении. Утратившая подвижность, рассеченная сзади морщинами шея и большие набрякшие веки — одно из них, вздувшись, как парус, закрыло на три четверти его правый глаз — придавали старику сходство с черепахой, глубокомысленной и одновременно нелепой.

На воротнике пиджака отчетливо виден был ярлычок фирмы — воротник оттопыривался сам собой, желая объять давно иссохшую плоть. Улыбка, навечно застывшая на лице, выражала не столько добродушие, сколько иронию, как бы подчеркивая: старик немногого ждет от людей; но твердые складки в уголках рта наводили на мысль, что он привык получать от людей больше, чем они готовы были ему предложить. В страстном и приторном выражении его лица проскальзывало нечто левантийское *: отрешенность,

* Левант — традиционное название древних стран восточного Средиземноморья, жителям которых приписывалась чрезмерная утонченность и изощренность нравов.

причастность к истории, дремотная сонливость, сменившая годы напряженные, кипучие, презрение ко всему материальному, усталое разочарование в недолговечной суетности бытия.

Голос его, приглушенный пылью и черным табаком, звучал еле слышно. Хрупкие слова вырывались из астматических хриплых вздохов и, казалось, доносились откуда-то издалека. Плажо почувствовал невольную симпатию к посетителю — в нем было что-то настоящее.

— Напомните мне еще какие-нибудь мои псевдонимы, — сказал старик неожиданно.

Плажо охотно уважил его просьбу:

— Владимир Иликов, Рене Сабуро, Вольфганг Тичи, Антал Соломон, граф Наполеон де Суси...

Услышав последний, старик разразился откровенным хохотом, который тут же перешел в болезненный кашель. Наконец он перестал кашлять и снова посмотрел на Плажо. Приступ утомил его, но в усталом взгляде проскальзывали веселые искорки.

— Аристократы мне удавались хуже всего, — просипел он. — И я никогда не мог придумать подходящего имени. Наполеон де Суси... Что за бред! Организация поручила мне внедриться в королевскую семью Саксонии и подготовить изнутри убийство одного из ее членов. В те времена мы высоко не метили. Меня, естественно, раскусили сразу. Не успел вручить визитную карточку, тут же замели и выслали. Я, понимаете ли, совсем не выглядел графом Наполеоном де Суси. Хотя, если подумать, я и представить себе не мог, как должен выглядеть граф Наполеон де Суси. — Старик посерьезнел. — Нет, лучше всего и всего опасней я становился, бывая человеком из народа.

— Опасней? — переспросил Плажо. — Однако, просматривая ваше досье, я не могу найти свидетельства хотя бы одного совершенного вами преступления. Тем более — убийства. Вас всегда арестовывали по подозрению.

— Во Франции мне никогда не везло, — вздохнул Звойнич.

— Почему же вы остались здесь? Вроде у вас тут нет никаких связей — ни родни, ни врагов.

— Я люблю Францию, — пробормотал Звойнич. — И никогда ее не покину, если только вы не выставите меня отсюда.

Плажо был невольно тронут. Он закрыл досье и закурил «Галуаз».

— Очень хорошо, — сказал он, — позвольте мне подытожить. Вынести окончательного решения я не могу, пока до конца не уясню проблему. Я принял это бюро только вчера, и вы настойчиво намекали, что я еще не разобрался во всех моих обязанностях. Это я понимаю не хуже вас. Но попробуйте поставить себя на мое место. Ко мне приходит человек восьмидесяти четырех лет...

— Восьмидесяти пяти.

— Восьмидесяти пяти, прошу прощения. У меня и в мыслях не было укорачивать вам жизнь. Итак, вы являетесь ко мне, передвигаясь с помощью двух палок, и объявляете себя неистовым и знаменитым убийцей. Поскольку человек я по натуре вежливый, я предлагаю вам сесть. Вы принимаете мое предложение с явным облегчением, ибо с трудом поднялись на четвертый этаж. Затем предъявляете мне сегодняшний утренний выпуск «Орор», в котором сообщается о предстоящем визите имама Хеджаза с целью содействовать лучшему взаимопониманию между народами Франции и его страны. Я спрашиваю вас, какая тут связь с вашим собственным визитом. Вы выражаете изумление и сообщаете, что мой предшественник мосье Латий понял бы сразу. Я стою на своем, и вы объясняете, что жизнь имама в опасности. Мне становится любопытно, и я спрашиваю, есть ли у вас информация, позволяющая сделать подобное заключение. Вы, сердобольно улыбаясь, отвечаете, что у вас может возникнуть искушение убить имама, если я не вышлю вас на неделю на Корсику. Послушайте, любезный, вы хотя бы имеете представление, где находится Хеджаз?

— Неважно, где он находится, — ответил старик. — Я —

враг всех самодержцев, и народ этой несчастной страны заслуживает освобождения, где бы она ни находилась. Ни один деспот не может спать спокойно, покуда я жив.

— Скажите, — спросил Плажо, — а как поступил бы в такой ситуации мой предшественник мосье Латий?

— С ним спорить не приходилось, — отвечал Звойнич. — Мосье Латий отчетливо осознавал угрозу, которую мы представляем для гостей республики. Он немедленно подписал бы приказ о высылке, и сегодня же вечером мы были бы в самолете.

— Сегодня вечером? — искренне изумился Плажо. — Но ведь имам прибывает только послезавтра!

— Не тот был человек мосье Латий, чтобы рисковать, когда в деле замешаны отчаянные головы.

— Ясно. Когда вы говорите «мы», речь, я полагаю, идет о пятерых ваших коллегах.

— Да.

— И где же они, эти пятеро ваших друзей?

— Уже упаковались и готовы отправиться в путь.

— То есть?

— Узнав из утренней газеты о приезде имама, мы провели совещание, и я был направлен к вам делегатом от нашей группы.

Плажо достал карандаш:

— Не могли бы вы сообщить мне имена пятерых ваших друзей?

— Разве это необходимо? Мосье Латий...

— Мосье Латия больше здесь нет, — резко перебил его Плажо.

— Очень хорошо, — отвечал Звойнич. И назвал поименно всех пятерых представителей региональных центров Интернационала нигилистов, в том числе единственную особу женского пола мадам Перлеско, более известную в нигилистских кругах как Роза Лихтенштейн.

— Ладно, — сказал Плажо, — но дать вам ответ сегодня я не могу.

Звойнич и не пытался скрыть охватившее его раздражение.

— Завтра, — буркнул он, — может быть уже поздно.

— Что ж, нам придется пойти на риск.

Звойнич с трудом поднялся со стула. Казалось, он думал, что производит большее впечатление, воздвигшись на все свои пять футов и восемь дюймов *.

— Вы еще молоды, — мрачно объявил он. — Любого, кто в молодости достигает поста начальника управления, принято считать подающим надежды. Но собственная ваша близорукость может погубить вашу карьеру.

— Знаете, что я думаю? — ответил Плажо. — Я думаю, вам следует обратиться к врачу.

— Вот как? Не пришлось бы вам самому вскоре стать объектом внимания врачей.

— Вы угрожаете мне?

— Я угрожаю каждому, кто встает на моем пути.

Сунув под мышку жалкий чемоданчик, старик взял в каждую руку по палке и заковылял к двери.

— Вам будет небезынтересно знать, — прошептал он, — что имам Хеджаза прибывает рейсом «Эр Франс» номер сто семьдесят восемь из Багдада в семь часов сорок восемь минут утра в среду. Он остановится в отеле «Рафаэль». Уезжает в Марсель в воскресенье «Голубым экспрессом». Охраняйте его хорошенько.

Старик ушел. Плажо раздраженно погасил сигарету и вызвал свою секретаршу, мадемуазель Пельбек. Она тотчас вошла в кабинет. Мадемуазель Пельбек была одной из тех преданных службе сотрудниц, без которых немыслимы французские министерства — они всегда ходят взад-вперед с какими-то бумагами и вечно что-нибудь штемпелюют. С пояса ее свисали на цепочке ножницы. Блузка, сшитая собственными руками, была настолько мешковата, что из-под нее вечно виднелась бретелька бюстгальтера, скреплен-

* Фут — мера длины, равна примерно 30,5 см; в одном футе двенадцать дюймов.

ная с бретелькой комбинации гигантской булавкой. Волосы ее были рыжими, рот непрерывно дергался, брови отсутствовали напрочь.

— Вы звонили! — объявила мадемуазель Пельбек, слова ее звучали как обвинение.

Она проработала с мосье Латием восемь лет и была возмущена его уходом на пенсию.

— Мадемуазель Пельбек, — спросил Плажо, — что вам известно о человеке по фамилии Звойнич, который именует себя нигилистом?

Мадемуазель Пельбек насторожилась и ответила, тщательно обдумывая слова:

— Мне известно, что мосье Латий считал его весьма опасной личностью.

— Почему же его не депортировали, если он так опасен?

— О господи, да ведь... — вырвалось у мадемуазель Пельбек, но она тут же взяла себя в руки. — Хотя мосье Латий и считал его опасным, но все же не таким опасным, как считал себя сам Звойнич, если вы понимаете, что я имею в виду.

— Честно говоря, не понимаю. И после первой встречи я счел его безобидным чудаком.

— То есть вы не намерены отправить его на Корсику? — в ужасе спросила мадемуазель Пельбек.

— Да с какой стати?

— Видите ли, он никогда не объявляется без достаточных на то оснований. У них с мосье Латием сложились весьма необычные отношения. С давних пор, как я помню, мосье Латию даже не приходилось никогда посылать за ними. Они приходили сами, как только узнавали из газет о прибытии в Париж какого-нибудь высокого гостя. Просто удивительный пример сотрудничества между потенциальными преступниками и их потенциальными преследователями. Будь все преступники так же сознательны, как эти шестеро, самой преступности бы не стало.

— Безусловно, — сухо буркнул Плажо. — Я нахожу их абсолютно безобидными.

— Можно ли кого-нибудь из нас считать абсолютно

безобидным? — спросила мадемуазель Пельбек. — Они никогда не убивали во Франции, это верно, но в Македонии у них ужасная репутация.

— Откуда вам это известно?

— Мне говорил мосье Латий.

— Никаких свидетельств тому я в досье не нашел, — хмыкнул Плажо.

— Мосье Латий не стал бы выдумывать подобные вещи. Зачем ему?

— Н-да, интересно. Вы свободны, мадемуазель Пельбек.

Она с достоинством удалилась, бормоча что-то о выскочках и неблагодарных.

Плажо глядел в окно, за которым угасал летний день. Затем позвонил коллеге из другого управления Сюртэ, и в ответ на его вопрос о приезде имама коллега сообщил, что венценосец прибывает рейсом двести шестьдесят четыре компании «Эр Франс» из Женевы в девять часов двенадцать минут утра в среду и остановится в официальной резиденции гостей президента республики. Мрачно улыбаясь, Плажо повесил трубку. Он уже был готов напрочь выбросить из головы всю эту историю, как зазвонил телефон. Коллега сообщил, что неточно информировал Плажо: имам остановится не в Елисейском дворце, а в отеле «Рафаэль».

Плажо выругался.

— Но скажите, — спросил он, — имам действительно прибывает из Женевы, а не из Багдада?

— Информацию о его прилете я дал вам совершенно точную.

— Куда же направится имам из Парижа?

— В Монте-Карло.

— А не в Марсель?

— Нет, нет, Монте-Карло. Цель визита имама во Францию — улучшить жизнь своего угнетенного народа, но сам он несметно богат и обожает азартные игры.

Плажо улыбнулся.

— Я полагаю, — добавил он, — имам летит до Ниццы самолетом, а далее проследует автомобилем.

— Нет, — отвечал голос в трубке. — Ему заказаны места на «Голубой экспресс», которым он и проделает весь путь.

— Вот как? Спасибо. — Плажо повесил трубку и задумался.

Два из сообщенных стариком фактов подтвердились, два — нет. Долг полицейского — подозревать. И тем не менее всегда легче подозревать того, кто старается отвести от себя подозрение, чем другого, пытающегося его на себя навлечь. Какой будет ужас, если имам и в самом деле погибнет, разорванный в клочья традиционным букетом цветов, таившим в благоуханной сердцевине своей адскую машину. Случись такое, на совести Плажо останется несмываемое пятно, он никогда больше не сможет смотреть в глаза мадемуазель Пельбек, это уж точно. Чертов Звойнич! При всей его неуклюжести знал, что делает, — вон какие сомнения посеял. Умудрился показать себя чуть-чуть чересчур зловещим, как раз чтобы не выглядеть смешным, и недостаточно смешным, чтоб показаться безобидным. Плажо потребовал досье людей, которых Звойнич указал как сообщников. Досье оказались на удивление однообразными. У каждого куча кличек.

Быстро проделав кое-какие подсчеты в своем блокноте, он пришел к примечательному выводу: общий их возраст достигал пятисот восьми лет. Самым младшим был Иегуда Ахрон — семьдесят девять лет, девяностодвухлетняя мадам Перлеско оказалась старейшей.

Ситуация представлялась Плажо все более тревожной и... абсурдной. Оставался единственный ключ к загадке — Латий. Плажо нашел номер его домашнего телефона в записной книжке.

— Алло, мосье Латий дома? — спросил он.

— Кто его спрашивает? — Женский голос в трубке звучал неуверенно.

— Амбруаз Плажо. Это мадам Латий?

— Да.

— Видите ли, мадам, я — Плажо, преемник вашего мужа. Вы, может быть, помните меня по маленькой позавче-

рашней вечеринке, когда отмечали уход вашего супруга на пенсию. На меня пал выбор вручить ему чернильницу с памятной надписью.

— Разумеется, я вас помню, мосье. Чернильницу я поставила на каминную доску. Она очень красива, как и ваша речь.

— Я льщу себя мыслью, что не лишен дара слова. Ваш муж дома, мадам?

— Одну секунду.

К телефону подошел мосье Латий.

— Привет, Плажо. Как дела на службе, старина?

— Я из-за них и звоню, Латий. Есть у меня вопрос, ответить на него можете только вы. Не найдется ли у вас минута — встретиться со мной.

— А по телефону сказать не можете?

— Нет.

После небольшой паузы Латий ответил:

— Хорошо. Раз уж вы так настаиваете, приезжайте прямо сейчас.

— Спасибо, — ответил Плажо, сразу почувствовав себя более уверенно.

Плажо не был женат, но имел любовницу, которая вполне могла бы считаться и женой, поскольку безупречной верности ей он не хранил. Как раз сегодня был день ее рождения. Плажо позвонил ей.

— Анник, — сказал он ей своим самым солидным голосом, — я задержусь — на три четверти часа. Что? Ты уже одета и готова выходить? Вот и прекрасно, когда я к тебе приеду, мне не придется ждать.

Надев щегольскую черную шляпу, Плажо покинул кабинет.

— Извините за беспорядок, дорогой Плажо, — сказал мосье Латий, входя в скромную гостиную, — но завтра утром мы уезжаем в Динар.

Выглядел Латий весьма живописно: растрепанная грива седых волос, крошечная эспаньолка, водянисто-голубые

глаза — с виду скорее художник, чем чиновник. В присутствии столь красочной личности подтянутый, аккуратный, педантичный Плажо чувствовал себя неловко.

— Я понимаю, как вы должны быть заняты. Задержу вас буквально на минуту, перейду прямо к делу. Я по поводу некоего Звойнича.

Сразу утратив свою жизнерадостность, мосье Латий тяжело опустился в кресло.

— Да, — сказал он, — о нем-то, боялся я, вы меня и спросите. Как только я развернул утреннюю газету и узнал, что завтра прибывает имам Хеджаза, весь день был для меня испорчен. Ожидая самого худшего, я стал нервничать и беспокоиться. И надеялся уехать прежде, чем разразится гроза.

Плажо тоже сел.

— Но в чем же тайна? — спросил он. — Либо этот человек опасен, либо нет. Казалось бы, такой вопрос относительно легко разрешим.

— Дело далеко не простое, — грустно ответил Латий. — Знаете, я сейчас себя чувствую как главный кассир банка, которому все доверяли, а он вдруг растратил миллионы.

— Почему же у вас такое чувство? — строго спросил Плажо.

— Потому... Потому, что я так никогда и не смог додуматься: опасны эти престарелые анархисты или нет. В конце концов, не в силах выносить и дальше это состояние неопределенности, я решил свои сомнения в их пользу.

— Вы хотите сказать, что удовлетворили их просьбу об отправке на Корсику без должных на то причин?

— Совершенно верно.

Плажо стал очень чопорен и самоуверен.

— Вы отдаете себе отчет, Латий, что эти ваши капризы оплачивались из кармана налогоплательщика?

— Разумеется, голубчик, разумеется, отдаю, да и не стану притворяться, будто очень из-за этого мучился. В конечном счете деньги налогоплательщиков обычно тратятся куда менее милосердно и с гораздо меньшей пользой. Достаточно

посмотреть, сколько вбухали в линию Мажино *. А толку что?

— Если все начнут рассуждать, как вы, наступит хаос!

— Хаос и так существует, дорогой мой Плажо, но не потому, что все думают, как я, а потому, что все думают по-своему. Как мудро сказал Вольтер, каждый вправе возделывать свой собственный сад. К хаосу могут легко привести два самых разумных суждения, поставленных рядом. Тут уж ничего не попишешь. Единственное, что мы можем, — держать наш дом в порядке.

Плажо поднялся и возбужденно зашагал по комнате.

— Я пришел сюда, — сказал он, — не затем, чтобы предаваться метафизическим дискуссиям.

— Отнюдь, — невозмутимо ответил Латий. — Вы пришли сюда спросить, опасны эти шестеро старых убийц или нет. Я отвечаю вам: не знаю.

— Вы удивляете и шокируете меня, Латий. Теперь я понимаю, почему Звойнич сказал, что у вас с ним сложились весьма приятные отношения.

— Он так сказал? — улыбнулся Латий. — Очень мило с его стороны, хотя и несколько бестактно, ведь он, как я вижу, в вас еще не разобрался.

Плажо замер на месте.

— Что означают ваши слова? — взорвался он. — Уж не пытаетесь ли вы найти оправдание своим действиям?

— Я не думаю, что они нуждаются в оправдании. Вплоть до вчерашнего дня ваше бюро было моим. Я руководил им восемь лет и ничуть не сожалею о решениях, принятых касательно этих людей. Единственное, чего я боялся, это дня, когда мне придется их объяснять. Между оправданием и объяснением есть большая разница.

— У меня нет времени вникать в столь тонкие интер-

* Линия Мажино — названная по имени военного министра Франции генерала А. Мажино система укреплений на границе с Германией; строилась и совершенствовалась с 1929-го по 1940 год и обошлась в огромную сумму. В 1940 году немецко-фашистские войска, обойдя линию Мажино, вышли ей в тыл, и гарнизон ее капитулировал.

претации! — крикнул Плажо. — Хотите объясниться, извольте!

Латий говорил мягко, с усмешкой:

— Я помню, как Звойнич пришел ко мне впервые. Тогда его звали Збигнев. Дело было в тысяча девятьсот сорок шестом, Париж кишмя кишел союзными генералами. На меня произвела тогда впечатление его честность. Он заявил, что не может удержаться от покушений на жизнь иностранных знаменитостей. Я подумал было отправить его к психиатру, но потом сама мысль излечить человека, которому уже за семьдесят, от мании, превратившейся, судя по его досье, в неискоренимую привычку, начала казаться несколько неуместной. Будь он юношей, я сделал бы это без малейшего колебания. Учитывая же его возраст, я решил отправить его на Корсику. Должен сознаться, у меня возникли определенные подозрения, когда у него неожиданно оказалось пятеро друзей, страдающих тем же необычным недугом. Однако нам вовсе не хотелось заполучить труп союзного генерала или дипломата, да еще в то время, когда мы лезли из кожи вон, чтобы сделать нашу истерзанную войной страну привлекательной для туристов. Потом, когда была восстановлена определенная стабильность, старикам разрешили вернуться во Францию.

Затем в Париж прибыл высокий иностранный гость — кто, я уже не припомню. Офицеры его службы безопасности предъявили список лиц, которых они хотели бы удалить из столицы на время визита. Желая доказать им, что их списки далеко не полны, я демонстративно выслал наших шестерых друзей на Корсику снова. Мне даже не пришлось посылать за ними, они явились ко мне сами, когда у меня в кабинете сидел представитель иностранной контрразведки.

Та же история повторилась во время визита президента — опять позабыл имя — одной балканской страны, затем — когда приехал Аденауэр. А потом в один прекрасный день они посетили меня безо всякой видимой причины. Я спросил, чему обязан удовольствием видеть их, — и это действительно было удовольствие, Плажо, уверяю вас. В них, как в

хороших клоунах, сочеталось смешное и трогательное. Короче говоря, общение с ними было передышкой в утомительной веренице встреч с угрюмыми, неприятными, лишенными всякого обаяния людьми, с которыми мы изо дня в день имеем дело.

Они объяснили, глазом не моргнув, что во Францию собирается приехать шах персидский. Я рассмеялся: «Неужто и вы покушаетесь на бедного, беззащитного шаха? У него и так хватает неприятностей — легко ли качать горючее из-под земли, а тут еще вы»... Отвечал мне Звойнич. Он — их присяжный оратор. Лукавство, искрившееся в его глазах, было очевидным до умиления. «Ознакомьтесь с досье мадам Перлеско, — потребовал он, — и вы узнаете, что произошло в конце лета тысяча девятьсот двенадцатого года». Я последовал его совету и прочел, что она была арестована в Исфахане и выслана во Францию по просьбе персидского правительства за то, что постоянно и публично оскорбляла царствующую фамилию. «Персы, похоже, проявили ошеломляющую чувствительность», — заметил я. «Проницательность!.. Проницательность, — поправил меня Звойнич. — Они сразу распознали грозящую им опасность. В тех странах не принято совершать политическое убийство лично. Вместо этого следует распалить толпу, и она все сделает скопом».

Рассказ их был невероятен, но изложен столь изобретательно, а их немногочисленные пожитки упакованы столь тщательно, что я сдался.

Месяцев девять спустя они зашли чересчур далеко. Явились ко мне, упаковав вещи и готовые тронуться в путь под предлогом приезда князя Монако. Я сразу предложил им вернуться домой. Мое решение, заявили они, возымеет печальные последствия. Они, отвечал я, злоупотребляют моей добротой. Неожиданно Звойнич выхватил из своего кармана огромный пистолет с арабской насечкой и начал размахивать им. «У вас есть на него разрешение?» — поинтересовался я. В минуты опасности я всегда черпаю мужество в иронии. Нигилисты, ответствовал Звойнич, не нуждаются ни

в чьих разрешениях, это — часть их принципиальной политики.

Я расхохотался. Смех мой, видимо, разгневал Звойнича, он выставил пистолет в окно и нажал на спуск. Раздался оглушительный грохот, от которого у меня зазвенело в ушах. К несчастью, драматический эффект подпортила Перлеско, крикнув: «Идиот! Это же наш последний порох!»

Я поднялся и трясущимся пальцем указал на дверь. «Вон! — завопил я. — И чтобы ноги вашей здесь больше не было!»

Они уходили в полной растерянности на глазах у сотрудников, сбежавшихся из соседних кабинетов посмотреть, что случилось.

Когда через некоторое время было объявлено о предстоящем визите императора Эфиопии, я в глубине души надеялся, что они придут; но проходил день за днем, а они не появлялись. Меня мучили угрызения совести, Плажо. Пожалуй, я начинал стареть сам и чувствовал, как разверзшаяся впереди пропасть, имя которой — отставка, придвигается все ближе и ближе. В общем, я просто ощущал себя жертвой рокового сострадания, которое испытывал к этим старым дурням. Выставить их за дверь казалось теперь все равно что пнуть собаку или стащить у ребенка конфету. Сам по себе мой поступок ничего не значил, но для них, подозревал я, в том узком, ограниченном мирке, где они жили, он представлялся чрезвычайно важным. И я молил бога, чтобы они вернулись и дали мне возможность очистить мою совесть.

И вот всего лишь за несколько часов до прибытия негуса в аэропорт Орли дверь робко приоткрылась. За нею был Звойнич! Я вскочил и выпалил громогласно: «Господи, да куда вы подевались? Я уж думал, придется мне самому за вами ехать!»

Жалко улыбнувшись, Звойнич прямо задрожал. «Так, значит, мы можем отправляться на Корсику?»

«Вот ваши бумаги», — ответил я, с облегчением вздохнув. И больше никогда их не видел.

Плажо глядел на бывшего своего коллегу так, будто тот на его глазах продал противнику военную тайну.

— Одного вы так и не объяснили, — презрительно фыркнул он. — Почему они так стремятся на Корсику? Там что, явка Интернационала нигилистов?

— Да нет, — с обворожительно откровенной улыбкой отвечал Латий. — Я не верю, что Интернационал нигилистов еще существует. Нет, я думаю, им нравится климат Корсики. Для них эти поездки — как отпуск. Отпуск за наш счет.

Плажо, побагровевший от ярости, был на грани взрыва.

— В жизни не сталкивался с более скандальной историей! — проревел он. — Вы, Латий, жертва собственной чувствительности и безволия и, впадая в старческое слабоумие, переносите жалость к собственной особе на скопище безобидных придурков, которые...

Латий поднял руку, предупреждая лавину слов.

— Безобидных? — вспыхнул он. — Выстрели тот пистолет в человека, а не в окно, он разнес бы ему череп. В отличие от вас, Плажо, они отнюдь не обделены воображением. Пусть они безумны, но — изобретательны! Где гарантия, что они не восседают сейчас на каком-нибудь чердаке, обсуждая дьявольски хитроумный план покушения на имама Хеджаза? Нет, Плажо, не потому, что имеют что-нибудь против имама, а потому, что не видят иного способа напомнить вам: им пора на Корсику!

— В таком случае их надо арестовать! Бросить в тюрьму! Проучить как следует!

— Таковы ваши методы, да? В тюрьму. Не тревожьтесь о государственном бюджете, Плажо. Ведь заключенных в тюрьме тоже содержат на казенный счет. Может, это обойдется дешевле, но все равно платит налогоплательщик. Французский народ должен оплачивать либо мою снисходительность, либо вашу нетерпимость.

— Так вышлите их тогда насовсем.

— Куда? Кто их возьмет? Милый мой, невысокого же вы мнения о Франции и ее традициях.

— Франция — не благотворительное заведение!

— Франция — очаг просвещенного разума. Вы настолько честолюбивы, что готовы вскарабкаться на самую вершину только ради того, чтобы рассеивать вокруг семена своих собственных невзгод. Слава богу, я не ваш современник.

Плажо всего трясло. Глаза его горели, рот бессмысленно подергивался.

— Что вы несете, черт побери? — завопил он.

— Почему я был так обходителен с этими чудаками? Да потому, что сам я — счастливый человек, а тот, кто счастлив, всегда щедр. Он жаждет поделиться своим секретом с другими. Я сорок один год женат, и у нас с женой не было ни единой размолвки. Мы всегда были веселы и жизнерадостны. Я знал, мне не пробиться наверх, и смирился с моей посредственностью. Я даже умел шутить об этом при случае. Наши дочери не очень красивы. Они унаследовали внешность матери и мою комплекцию. В итоге они нашли мужей, выбравших их за душевные качества, и теперь они так же счастливы, как и мы. Когда в прошлом году жена разбила нашу машину, врезавшись в дерево, я был рад вновь обрести возможность ходить пешком. Нет худа без добра.

— Какое все это имеет отношение ко мне и к толковому руководству нашим департаментом?

— Самое непосредственное, — отвечал Латий. — Вы до мозга костей несчастный, жалкий человечишка. В вашем юморе столько сарказма, что, кажется, любая мысль становится прогорклой, пройдя сквозь фильтр вашего мозга. Вам едва перевалило за сорок, а вы уже начальник управления и считаетесь одним из самых многообещающих полицейских чиновников. Вам прочат по меньшей мере пост префекта Марселя или Лиона, где ваше унылое мелочное крючкотворство сделает жизнь невыносимой. Либо вы станете резидентом в одном из наших незначительных владений, где будете морочить головы туземцам и убивать время, ежедневно изменяя правила движения. Я знаю таких людей, как вы. Жизнь для вас — досье, память — картотека, ваш символ — амбиция, любовь по-вашему — регламентированная обязанность. Вы холостяк. Почему? Потому что вы — эгоист.

Женщины скорее необходимы вам, чем милы, больше милы, чем любимы, и любите их всех вы больше, чем способны полюбить какую-то одну. Вы живете сейчас со второразрядной актрисой. Опять же — почему? Потому, что достигли положения, при котором просто полагается жить со второразрядной актрисой. Вы никогда не пойдете на духовный риск. Вы мертвы. Вы видите то, что хотите видеть, чувствуете то, что хотите чувствовать, и обаяние ваше не глубже, чем слой одеколона на вашей коже. И учтите, я говорю все это только потому, что симпатизирую вам. В отличие от этих несчастных нигилистов, вы вполне перевоспитуемы. Мы еще можем сделать из вас человека.

В этот момент в комнату вошла мадам Латий. Она была поразительно уродлива, но улыбка ее излучала тепло и веселье.

— Жюль, — упрекнула она мужа, — ты даже не предложил гостю рюмку портвейна!

Плажо, отрезвленный присутствием дамы, сказал:

— Сожалею, Латий, но я вынужден буду потребовать тщательного расследования ваших действий и информировать обо всем префекта.

Пожав плечами, Латий грустно улыбнулся.

— Поступайте как знаете, — ответил он, — но не удивляйтесь, если имам взлетит на воздух, пока вы займетесь своими мерами по наведению порядка, и весь арабский мир подымется против нас, чтобы отомстить, только из-за того, что вы предавались столь значительным делам.

Бурей вылетев за дверь, Плажо отправился праздновать день рождения любовницы. Праздник вышел на редкость грустным. Анник делала все, чтобы развеселить Плажо, но он способен был думать лишь о том, что она — второразрядная актриса. Он поспорил с официантом из-за счета и даже вызвал хозяина. Машина никак не заводилась. Когда они вернулись домой, перегорели пробки. Анник, быстро переодевшись в черную прозрачную пижаму, соблазнительно раскинулась на розовых простынях, но Плажо хмуро сидел на стуле, уставившись взглядом в стену.

Неожиданно он позвонил на службу.

— Инспектор Бреваль, — сказал он, — вы сегодня дежурите ночью? Говорит Плажо. Прошу взять под наблюдение шестерых подозреваемых. Срочно. Дело первостепенной важности. Я дам вам имена и адреса.

Закончив разговор, Плажо лег на кровать и закрыл глаза. Вскоре он заснул. Сны его были полны убийцами. И каждый был вооружен чем-нибудь смертоносным. Мадемуазель Пельбек пыталась проткнуть его ножницами. Невозможно было открыть дверь, чтобы не обнаружить за ней мосье Латия с целым выводком счастливых и безобразных дочек. Когда он пошел за почтой, в ячейках стеллажа для корреспонденции были разложены маленькие обнаженные женщины — каждая соответственно рангу получателя. В ячейке для почты префекта лежала одна из самых выдающихся актрис Франции — величиною в шесть дюймов. «Бонжур, Плажо, — сказала она с пленительной улыбкой. — Когда-нибудь вы дослужитесь до префекта, и я достанусь вам в наследство». Проснулся Плажо в холодном поту и еле удержался от слез.

— Чертов Латий! — закричал он во весь голос.

Следующим утром его ожидали на службе два детектива.

— Ну, — спросил Плажо, — нашли вы хоть одного из них?

— Никак нет, мосье, — ответил сыщик.

— Идиоты! — грохнул кулаком по столу Плажо.

— Со всем должным к вам уважением хотелось бы отметить, что нас нельзя винить в отсутствии подозреваемых.

— Нет-нет, конечно, нельзя. Я не очень хорошо спал сегодня. Нервы.

День тянулся медленно. Работать Плажо не мог. В четыре часа позвонили от его превосходительства Джамил аль-Гаруна ибн Ибрагима аль-Салада, главного экономического советника его светлости имама Хеджаза, и сообщили, что перед отбытием из Женевы делегация получила письмо с угрозами. Письмо, отправленное из Суассона, было крат-

ким и многозначительным: «В Париже Вас ждет смерть». Подпись отсутствовала, ее заменял любительский рисунок — отрубленная голова и окровавленный симитар *.

В каком-то смысле Плажо почувствовал даже облегчение. Исчезла неопределенность, исчез страх попасть в смешное положение. Он оповестил о характере опасности все соответствующие службы. В шесть часов был арестован человек, передвигавшийся с помощью двух палок, но после часового допроса освобожден. На поверку он оказался отставным полковником с блестящей репутацией и собирался подать на полицию в суд. Операция разворачивалась под несчастливой звездой.

В восемь позвонили из женевской полиции сообщить о поступлении на адрес отеля, где разместилась арабская делегация, телеграммы с угрозами. Телеграмма гласила: «Наше письмо следует принять всерьез. Симитар мести занесен». Отправлена она была из Бордо. Бордо? Плажо сверился с картой. Суассон далеко от Парижа, Бордо еще дальше. Это означало, что организация разветвлена куда больше, чем он предполагал. Плажо нервно взглянул на часы. Времени оставалось все меньше.

В девять префект, мосье Вагни, созвал совещание, на котором присутствовал и Плажо.

— Господа, — мрачно объявил префект, — мы предпринимаем все меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность имама Хеджаза. Само собой разумеется, все, что я скажу вам, — сведения наисекретнейшие. В последний момент имам и сопровождающие его лица пересядут с самолета «Эр Франс», который должен был доставить их в Орли, на самолет «Свиссэр» **, он совершит посадку в Бурже десятью минутами раньше. Оттуда «ситроен» доставит в отель «Рафаэль» двойника имама, в то время как настоящий имам направится кружным путем в отель «Делаж». Вся прислуга на втором этаже отеля «Рафаэль» заменена полицейскими. Место лифтера займет агент Вобургойн,

* Симитар — кривая восточная сабля.
** «Свиссэр» — швейцарская авиакомпания.

один из лучших наших людей. Мы внедрим наших парней и на кухню. Если убийцы попробуют нанести удар, они не застанут нас врасплох. Мы не можем себе позволить недооценить опасность, угрожающую жизни имама, или переоценить значение безопасности ее для нашей страны. У меня все, господа. По местам.

Перед самым вылетом из Женевы самолет «Эр Франс» был обыскан швейцарской полицией. На борту обнаружили бомбу с часовым механизмом, которая весело тикала под креслом в салоне. Большинство пассажиров уже заняли свои места, когда один из них, примечательный смуглый джентльмен, потерял сознание. Его сняли с самолета, подозревая приступ аппендицита. Под его-то креслом и нашли бомбу. Он был немедленно арестован швейцарской полицией и оказался членом тайной арабской организации, стремящейся вернуть на трон свергнутого дядю имама, весьма беспутного господина, живущего ныне в Риме. Французы получили эти сведения, когда самолет «Свиссэр» был уже совсем близко от Парижа. Швейцарцы сообщили также, что пока предполагаемый убийца еще считался добропорядочным кандидатам на аппендэктомию *, он воспользовался телефоном в клинике аэропорта и бурно изъяснялся по-арабски, когда ворвалась полиция, чтобы арестовать его. Должно быть, он понял, что имам этим самолетом не летит, и предупредил сообщников.

Французские полицейские, патрулировавшие аэропорт Орли, засекли подозрительную группу арабов, которые нервически пили кофе в буфете и перешептывались украдкой. Плажо вместе с инспектором Ланьоном обежали весь аэропорт, но не обнаружили и следа своих нигилистов.

— Самолет опаздывает? — спросил он вдруг.

— Разве вы не слышали? — вполголоса ответил Ланьон. — Только что поступило сообщение. На борту обнаружена бомба. Рейс отложен. Террориста взяли, но думают,

* Аппендэктомия — хирургическая операция по удалению аппендикса.

он успел предупредить сообщников, что имам приземлится в Бурже.

— Что?! — возопил Плажо. — Почему вы мне сразу не сказали?

Выбежав наружу, он махнул рукой шоферу и, усевшись в машину, на полной скорости умчался в сторону Бурже.

Он прибыл в аэропорт, как раз когда имам и его свита покидали самолет. В вихре белых бурнусов их темные очки поблескивали так же ярко, как зубы.

Плажо встретил инспектор де Вальд.

— Все в порядке. Только что звонили из Орли. Убийц взяли. Восемь человек. Все арабы.

— Это они только думают, что всех взяли! — закричал Плажо, увидев в толпе Звойнича и пятерых его стариков. — Арестуйте этих людей!

— За что? — спросил изумленный де Вальд.

— Они и есть убийцы, за которыми мы охотимся.

— Но ведь нам только что звонили...

— Выполняйте приказ!

Не поднимая шума, полицейские окружили шестерых нигилистов и оттерли их от толпы.

Звойнич выглядел торжествующе.

— Прошу вас, позвольте мне задержаться немного, услышать, как она рванет, — обратился он к Плажо, когда их маленькая группа остановилась на тротуаре.

— Что рванет? — завизжал Плажо, безжалостно тряся Звойнича за лацканы.

Звойнич больно ударил его по костяшкам пальцев одной из палок.

— Бомба, — ответил он.

— Где она? — Плажо потирал руку.

— Отправите нас на Корсику?

Плажо видел: имам со свитой приближается к машине. Во имя гостеприимства таможенные формальности были отменены.

— Хорошо, — прошипел он. — Где она?

— Под задним колесом. Только машина тронется —

ба-бах! — и Звойнич сделал красноречивый жест.

Молнией ринулся Плажо вперед и нырнул под машину имама. Потом побежал прочь как безумный, с черной коробкой в руках, сопровождаемый двумя агентами, и ворвался в мужской туалет. Там он напугал до оцепенения пожилого служителя и, наполнив раковину водой, опустил в нее черную коробку.

— Вон отсюда! — крикнул он служителю и, едва переводя дух, приказал агентам: — Оцепить район! Вызвать минеров!

Возвращаясь в Париж, Плажо предавался честолюбивым мечтам. Он слышал поздравления министров, читал зависть в глазах коллег и трепетал, изумленный собственной невероятной отвагой. Полчаса спустя он сидел за своим столом. Наполеон не был так уверен в себе, вырывая корону из рук папы римского. Перед Плажо выстроились шестеро убийц. Он не предложил им сесть. Пусть постоят, так будет лучше. В свидетели своего триумфа он пригласил де Вальда.

— Имя вашего сообщника в Женеве? — спросил Плажо.

— В Женеве? У нас никого нет в Женеве, — удивился Звойнич.

— А в Суассоне?

— И в Суассоне нет.

— А в Бордо?

— Нет.

— Лжете!

Звойнич пожал плечами. Грубиянов он не жаловал.

— Возможно, имя Мухаммеда ибн Мухаммеда освежит вашу память? — пролаял Плажо.

Нигилисты, переглянувшись, покачали головами.

— Никто из нас никогда не пользовался подобной кличкой, — сказал Звойнич.

— Шутить изволите, — в голосе Плажо звучали малоприятные интонации. — Я посоветовал бы вам более серьезно отнестись к настоящему расследованию, ради вашей же пользы. Игра окончена, ясно вам? Мухаммед ибн Мухаммед арестован. Он во всем сознался.

— Не понимаю, к чему столько бессмысленных вопросов. Вы обещали отправить нас на Корсику, — мягко напомнил Звойнич.

— На Корсику? — зло рассмеялся Плажо. — Думаю, у вас больше шансов закончить дни в местах, куда более угрюмых.

— Но вы обещали! — Звойнич негодовал.

— Молчать!

В наступившем молчании слышалось лишь эхо грубых слов Плажо:

— Я сам расскажу вам, что произошло, раз вы отказываетесь. Вы ожидали имама в Орли, но мы опередили вас. Ваш сообщник в Женеве Мухаммед ибн Мухаммед проник как пассажир в самолет и подложил под свое кресло бомбу. Затем осмотрелся и понял: имам этим рейсом не летит. Он тут же симулировал приступ аппендицита и был доставлен в клинику аэропорта. Оставшись один в палате, он позвонил вам по заранее условленному номеру и, прежде чем швейцарские власти арестовали его, успел сообщить, что вам надо ехать в Бурже. Вы немедленно направились туда с бомбой, приготовленной на случай провала в самолете. Сразу опознав машину имама по количеству окружавших ее полицейских, вы остановились рядом, нагнулись — якобы завязать шнурок — и подсунули бомбу под заднее колесо, а затем отошли и смешались с толпой, чтобы полюбоваться действием смертоносного оружия. Можете вы это отрицать?

Де Вальд восхищенно взирал на Плажо. У кого еще такая проницательность, ясность мысли, умение мгновенно оценить ситуацию? Идеал полицейской работы!

— Мы поехали в Бурже, потому что догадались, имам прилетит туда, — сказал Звойнич.

— Лжете! — отрезал Плажо. — Ведь в прошлый раз вы говорили мне, будто имам прибывает в Орли рейсом «Эр Франс».

— Я говорил? Просто сказал наугад. А догадки обычно забываются. Потому и считается, что честность — лучшая политика.

— Куда уж лучше. Вы назвали даже номер рейса.

— Номер я выдумал, уверен был — вы его забудете. Ну, а что он летит самолетом «Эр Франс», сообщалось в газете.

— Но утренний рейс «Эр Франс» из Женевы приземляется не в Бурже.

— Откуда мне было это знать? — отвечал Звойнич. — Я полагался на интуицию. Если бы я ошибся, попробовали бы проникнуть в отель «Рафаэль».

— А-а! Наконец-то признание! Как вы узнали об отеле «Рафаэль»?

— Ну, это нетрудно. Рано утром выносят мусорные баки из отеля «Ланкастер». Если успеть вовремя, почти всегда можно найти в них бюллетень о пребывании в городе всяких знаменитостей. Чуть устаревшие новости; но для нас сойдет. Там иногда сообщают и о предстоящих приездах.

Плажо мрачно улыбнулся.

— Никогда не следует недооценивать изобретательность ума опытного преступника, — сказал он де Вальду.

— Просто невероятно, — пробормотал де Вальд.

В этот самый момент в дверь вошел мосье Келлерер из лаборатории Сюртэ. На нем был белый халат.

— Ага! — воскликнул Плажо. — Вот и вещественное доказательство!

— Вы уверены, что дали мне тот самый предмет? — спросил растерянный Келлерер.

— Абсолютно, — ответил де Вальд. — Я лично наблюдал за его извлечением из раковины в мужском туалете и доставкой сюда.

— Что с ним стряслось? — поинтересовался Плажо.

Келлерер открыл коробку.

— Здесь пусто, — сказал он. — Это просто пустая коробка.

— А этот провод, торчащий наружу, — пролепетал, заикаясь, Плажо, — что-нибудь означает?

— Ровным счетом ничего. Просто припаян к крышке.

— А не могло содержимое коробки раствориться в воде?

— Это исключено.

Де Вальд начал смеяться, сперва тихо, потом истерически. Раздраженный вопрос Плажо: «Над чем вы смеетесь, де Вальд?» — только усугубил дело.

Чувствуя, что смех де Вальда становится заразительным, Келлерер, еле сдерживая улыбку, благоразумно удалился вместе с вещественным доказательством.

— Ради бога, де Вальд, возьмите себя в руки! — завопил Плажо.

— Ну и ну... Вы побили... мировой рекорд в беге... на двести метров... чтобы обезвредить... Обезвредить какую-то пустую коробку... под водой в мужском туалете! Нет, это грандиозно... грандиозно! — Де Вальд всхлипывал от хохота, держась за краешек стола.

— Де Вальд! Удалитесь в свой кабинет!

Но было поздно. Смех охватил убийц, как пожар — деревья в лесу.

Де Вальд с трудом покинул кабинет. Плажо стоял перед столом, слезы ярости застилали ему глаза.

— Молчать! Молчать! Приказываю вам молчать! — орал он, как ребенок в припадке истерики. — Я вас арестую, — добавил Плажо, когда шум немного стих.

— На каком основании? — поинтересовался Звойнич.

— Я... Я найду основания.

— Может, мы и предстанем перед судом на каких-то там основаниях, которые вы откопаете. Что ж, зал суда — самое подходящее место для публичного изложения всей этой истории. Так, пожалуй, можно ее и обессмертить.

— Вы меня шантажируете?

— Вовсе нет, — сказал Звойнич. — Шантаж подразумевает денежную сделку. Но если мы предстанем перед судом, то принесем присягу говорить одну только правду. Я угрожаю сделать лишь то, к чему меня в любом случае обяжет присяга.

Плажо как безумный озирался по сторонам.

— Очень хорошо, — ответил он. — Я вас вышлю, но уж лучше в Сахару... в Чад, в Убанги-Шари — туда, где жара пострашнее.

— Мосье Плажо, — спокойно заметил Звойнич. — Мы вполне отдаем себе отчет, что каждый раз, когда нас высылают за пределы Франции, это делается на казенный счет. Если вы желаете нам отомстить, выслав нас в Экваториальную Африку, то пострадаем не столько мы, сколько бедный налогоплательщик. Это обойдется ему куда дороже. Не хотелось бы думать, что наша невинная шутка ляжет тяжким бременем на плечи простых людей лишь потому, что оказалось задетым ваше самолюбие.

Эти слова, исполненные такой человечности и благородства, доконали Плажо, он рухнул в кресло и зарыдал. Через минуту он позвонил мадемуазель Пельбек.

— Документы для Корсики, мадемуазель, — произнес он устало.

— Вот они, — ответила мадемуазель Пельбек, кладя папку к нему на стол.

— Вы их уже подготовили?

— О да, как только прочитала в газетах, что к нам едет имам.

— Для отчетности я оформляю их вчерашним числом, до приезда имама, — сказал Плажо, вручая бумаги старикам.

Ситуация сложилась деликатная. Старики просто покивали вежливо и ушли, не удостоив Плажо иных изъявлений благодарности, дабы не дать повода к новому взрыву эмоций.

Плажо остался в одиночестве, душа его была подобна пустыне. Из-за соседней двери послышался хохот. Плажо и мысли не мог допустить, что смеются над чем-то еще, кроме истории его бесчестья, уже кочующей из кабинета в кабинет по обширному скоплению зданий. Он нахмурился сильнее прежнего и крепко сжал меланхолично кривившиеся губы. Нет, подобные события посылаются человеку, чтоб испытать, закалить его. Все еще ощущая в груди болезненные рыдания, он уставился на небо. Он знал, что далеко пойдет.

— Мадемуазель Пельбек! — вызов его звучал по-военному. — Принесите мне дела о депортации номер девятнадцать и двадцать один, немедленно!

Только в волшебных сказках поучительные события надолго изменяют характер человека. А мосье Плажо, если хотите знать, стал еще более жестокосердым и неуживчивым. Он использовал каждую возможность опорочить де Вальда и Келлерера, не пытаясь даже понять причин своей ненависти к ним. Его отношения с Анник были холодны, натянуты и фальшивы. Когда Плажо хотелось сделать ей больно, он называл ее второразрядной актрисой. И в одном только отношении эта история с шестерыми убийцами повлияла на него. Зная, что они никогда не уйдут на покой и ему придется ждать, пока они все не перемрут, он отныне уже больше не мог раскрыть утреннюю газету, не испытав при этом тошнотворной дрожи.

День состоит из сорока трех тысяч двухсот секунд

Эдвин Эпплкот ходил в зоопарк смотреть не львов, а кроликов. Мир животных всегда вызывал у него восторг, потому что в них отражались все людские обличья и характеры.

Заведующий отделом Би-би-си, в котором работал Эпплкот, рыжебородый шотландец медлительного, но свирепого нрава, вечно одетый в костюмы из мохнатого твида, был львом. В мисс Батлер, продюсере его программы, было нечто от лошади, даже, пожалуй, от южноафриканской антилопы гну с ее большим мозолистым носом и маленькими глазками, мутными, как с похмелья. Хотя не будем так жестоки к мисс Батлер. Пусть она и не бог весть какая красавица, зато у нее прекрасная душа.

А мисс Моуберри, ведущая раздел музыки и пластики для детей до четырех лет, была курицей-наседкой. Исполняя на цыпочках гимнастические упражнения, она воображала себя фантастически эффектной и воздушной, но сама до ужаса напоминала клушу, испуганно вылетающую из-под колес чуть не наехавшего на нее автомобиля. Мисс Олсоп, лирическое сопрано, была жирафой. Шея у нее такая длинная, что можно было свободно проследить весь путь взятых ею нот от диафрагмы на волю. А он, Эдвин Эпплкот, высокий тенор, был кроликом.

Мать его по наклонностям характера была старой девой, а отец — убежденный холостяк. Их поздний брак был союзом двух закоренелых одиночек. Эдвин всегда краснел при мысли о процессе, в результате которого появился на свет, уж слишком благопристойными всегда казались ему родители, чтобы настолько поддаться страсти. Правда, это

случилось всего лишь раз. Эдвин оставался единственным ребенком.

Эдвин был очень близок с матерью, но и с отцом он был близок тоже, поскольку родители до изумления походили друг на друга, и Эдвину не оставалось ничего кроме как походить на них обоих. Семья жила в согласии, никто никому ни разу не сказал грубого слова. В восемь утра — завтрак, ровно в час — обед, в четыре тридцать — чай, в семь сорок пять — ужин. Мистер Эпплкот всю жизнь проработал помощником продавца в мануфактурной лавке и не помышляя о продвижении. Хоть человек он был набожный, воображение его занимал не бог и даже не король, а мистер Перри, владелец лавки, где он работал. Только и слышалось на каждом шагу: «Мистер Перри то, мистер Перри се»; и миссис Эпплкот обладала достаточным тактом, чтобы спросить: «Что говорил сегодня мистер Перри?», когда замечала, что муж погрузился в мечтанья.

Даже в смерти его родители были пристойны и обошлись без всякого драматизма, оба скончались во сне, и лица их не омрачили ни боль, ни сомнения, ни даже житейский опыт.

Эдвин получил среднее образование и никогда не поднимался выше средних отметок. Он ненавидел спортивные игры, но очень стеснялся признаться в этом и кидался в них с таким трогательным отчаянием, что тренер числил его среди старательных. После шести месяцев пребывания в армии его освободили от воинской службы по малокровию, и перед самым концом войны, когда конкуренции почти не существовало, он успел найти себе работу, которая и пришлась ему по душе, и давала кусок хлеба.

Вот уже шестнадцать лет работал он в детской радиопрограмме, распевал песенки для малышей вместе с мисс Олсоп и озвучивал роль Зигфрида — Кролика в цилиндре, всеобщего любимца детворы.

Работа оставляла ему довольно много свободного времени, и больше всего он любил проводить свой досуг в зоопарке, наблюдая за невинными забавами маленьких и беззащитных созданий природы. Он знал, как пройти к их вольерам,

минуя крупных и опасных млекопитающих. Если ж ему приходилось все же идти мимо львов и тигров, он изобретал различные способы спасения на тот случай, если кто-нибудь из них вырвется вдруг из клетки, пока он находится рядом. Эдвин разглядывал каждое ограждение, прикидывал его высоту и чуть ускорял шаг, заметив, что оказался довольно-таки далеко от ближайшего выхода.

При переходе улицы ему случалось оставаться в одиночестве на тротуаре, когда прохожие гуртом валили на красный свет, уповая, что число их — залог безопасности. Эдвин не мог на ходу вскочить в автобус или спрыгнуть с подножки, а эскалаторы в метро просто не переносил. Нога, казалось ему все время, вот-вот угодит в машину, эту сцену он часто видел во сне.

Электрическая железная дорога и привлекала, и пугала его, и он не решался пользоваться ею в часы пик, боясь, как бы в толчее его не спихнули на рельсы. Еще одним средством передвижения, внушавшим Эдвину смертельный страх, был лифт. Если кабина резко шла вниз, Эдвин начинал раздумывать, удастся ли ему достаточно высоко подпрыгнуть в момент удара дна о фундамент, и строил изощренные планы на. этот случай.

Однажды Эдвин попробовал прокатиться на велосипеде и убедился: удерживать равновесие вовсе не трудно; но шум любого двигателя за спиной тотчас заставлял его вихлять из стороны в сторону и в конце концов повергал наземь. Человек по натуре очень вялый, он, в общем-то, не нуждался в помощи психиатра, поскольку ни один мудрец не сделал бы его решительней, да и лишало его присутствия духа лишь соприкосновение с другими людьми, с толпой, машинами и открытым пространством. Дома же, наедине с самим собой, за коричневыми бархатными шторами, среди разрозненной викторианской мебели и всякой всячины, доставшихся ему в наследство и связанных с отрадными воспоминаниями бедной, но безоблачной юности, он обретал полнейшее душевное равновесие и уверенность в себе.

Заваривая себе чай, что он делал довольно часто, Эдвин

сервировал стол так изысканно, будто ждал гостей. Он прихлебывал чай из чашки, расписанной блеклыми розами, и высказывал любезные замечания о ней тихим высоким голосом в течение минут десяти, необходимых, чтобы расправиться с намазанной маслом лепешкой и вытереть потом руки салфеткою с монограммой — энергично, будто пытаясь оттереть кровавые пятна. После каждой трапезы он мыл посуду, надев розовато-лиловый фартук, принадлежавший когда-то его матери. В квартире царила неизменная чистота, хоть и попахивало ветхостью, сыростью и едким духом денатурата — Эдвин чистил им оловянные кружки и медные детали конской сбруи, развешанные — как в загородном доме — вокруг камина.

Это мирное двухкомнатное пристанище находилось на втором этаже невысокого дома в лондонском районе Бэйсуотер, к северу от Гайд-парка. Округа эта, некогда роскошная, а ныне приходившая в упадок, получила coup de grâce * во время войны, когда под бомбами рухнули здания, что так или иначе рухнули бы сами. Единственным жильцом в этом доме, кроме Эдвина, была некая миссис Сидни, с которой он часто раскланивался в подъезде, поскольку она вечно то уходила, то приходила. Миссис Сидни была вежливой дамой с озабоченным выражением лица, вульгарным голосом, резкие духи ее пахли неприятно.

Как-то летним днем Эдвин закончил работу над своей радиопрограммой чуть раньше обычного и, ненадолго зайдя домой выпить чаю, спешно отправился на автобусе в зоопарк. Там по своему, тщательно продуманному маршруту он проследовал на свидание со своими друзьями-кроликами. Он простоял у их вольер целых два часа, размышляя о том, что нет в жизни большего утешения, чем повстречать существо, разделяющее твои тревоги. Если уж кролики с их невинными глазами и довольным чавканьем — нормальное творение природы, то и он, конечно же, обычный человек —

* Букв. «милосердный удар» (*франц.*); так в старинном рыцарском кодексе назывался удар, которым добивали раненого врага; ныне выражение это употребляется и в значении «смертельный удар».

просто робкий, а вовсе не урод.

Когда он отошел от вольер, уже начинало темнеть. Зоопарк закрывался, и Эдвин заторопился к выходу тем же путем, которым пришел, но на полдороге к турникету наткнулся на барьер. Оказалось, здесь начали ремонтировать какой-то подземный кабель. Ничего не оставалось, как вернуться обратно и пройти прямой дорогой мимо клеток со львами. Эдвин побежал. Не столько из опасения, что его запрут на ночь в зоопарке, сколько потому, что львы, раздраженные чем-то, грозно рычали.

Сумерки играли с Эдвином всевозможные злые шутки. Ему чудилось на бегу, будто впереди маячат какие-то призраки и, прячась в тени, молча окружают его. Шатаясь, прошел он сквозь турникет и минут пять простоял на улице, прислонясь к фонарному столбу и еле переводя дух. Низкий бледный лоб Эдвина покрылся испариной. Вечер начинался не лучшим образом.

Автобус остановился близ дома, и Эдвин собрался сойти, как вдруг машина, накренясь, тронулась снова. Эдвин воззвал к кондуктору, но тот мало чем мог ему помочь. Хорошо хоть еще проследил, чтобы на следующей остановке автобус не отошел, пока Эдвин не выйдет. Спускаясь с подножки, Эдвин по привычке извинился перед кондуктором, хотя просить прощения ему было решительно не за что.

Эдвин рассеянно шагал назад в сторону дома, перед его мысленным взором кишели мечущиеся львы и затаившиеся пумы. О боже, если все это мерещится ему наяву, что же будет, когда он заснет? Придется принять снотворное и завести будильник. Подойдя к подъезду, он огляделся и увидел полицию. И не какого-то одинокого «бобби», а четырех, патрульный автомобиль, машину «скорой помощи» и еще пару агентов в штатском.

Эдвин замер на месте. Да, это похуже львов. Он не видел их глаз, глаза прятались в тени под полями шляп и козырьками шлемов, но ошибиться было невозможно: они явно смотрели на него. Что же он натворил? Плату за радио он перевел вовремя, если только ее не затеряли на почте.

Квартирная плата и местный налог тоже уплачены. Подоходный налог удерживается из заработной платы. Во время войны его репутация была безупречна, и никаких махинаций с пищевыми рационами. Он, правда, получал немного сахара сверх нормы, но от больного диабетом друга — и только. Он всегда был сластеной. Разве это преступление? А если и преступление — неужто такое, чтоб посылать за ним целый отряд полицейских и детективов?

Чем дольше стоял он, тем большую ощущал за собою вину. Вдруг он почувствовал, что напряжение становится невыносимым. Он повернулся и пошел прочь. Позади раздались шаги: один человек, нет — двое... трое. Страшно — как гул мотора за спиной, когда едешь на велосипеде. Шаги вроде бы приближались. Эдвин пошел быстрее. Минуя фонарный столб, он заметил, как нелепо вытянулась его тень, и прежде, чем успел выйти из освещенного круга, у самых ног его мелькнули, как стрелы, тени трех шлемов и растворились во тьме. У следующего столба три шлема настигли его вплотную. Он побежал к дороге. Но у самого края ее остановился как положено — взглянуть, не приближается ли транспорт. Посмотрел направо, потом налево и снова направо — этому он научился во время кампаний против пешеходов-нарушителей. Тут-то его и схватили.

— Эдвин Эпплкот? — спросил дородный полисмен.

— Нет.

— Вы не Эдвин Эпплкот?

— Нет, я о н , — упавшим голосом ответил Эдвин.

— Почему же вы сказали, что это не вы?

— Не знаю, сэр. Я растерялся.

— Почему вы убегали?

— По той же причине, думаю. Что я такого сделал?

— Не знаю. Мы хотим задать вам несколько вопросов.

— О чем?

— Произошло убийство.

— Убийство?

Эдвин рухнул без чувств прямо на руки стоявшего позади полицейского, и его понесли обратно к дому.

— Взяли вы его? — окликнул их инспектор Макглашан, увидев приближение странного кортежа.

Это был человек строгих правил и требовательный, с послужным списком, украшенным славными боевыми делами в африканской пустыне, где фельдмаршал Монтгомери помог ему выиграть кампанию.

— Сопротивлялся, паршивец? — спросил инспектор, сощурив глаза.

— Нет, упал в обморок, — ответил констебль Мэтли. — Свалился без чувств, как услыхал про убийство.

Они положили Эдвина отдохнуть в кювет.

— Так, значит, он и есть Эпплкот? — прорычал Макглашан. — Довольно жалкий экземпляр.

— Тянет фунтов * на девяносто, не больше, — рассмеялся Мэтли. — Везет же людям!

Констебль Нортон был очень молод. Заметив сосредоточенное выражение лица Макглашана, он спросил:

— Вы думаете, это его рук дело, да, сэр?

Макглашан смерил юношу испепеляющим взглядом.

— Я знаю, Нортон, в детективных романах преступники всегда возвращаются на место преступления, но обычно довольно много времени спустя. Вы сами, совершив убийство, вернулись бы на место преступления всего лишь через час?

— Нет, сэр.

— Почему нет?

— Ну... Потому что...

— Потому что побоялись бы напороться на полицию, не так ли?

— Да, сэр.

— Вот и отлично, тогда перестаньте болтать все что в голову взбредет.

— Есть, сэр! — Но Нортон не сдавался. Его юное энергичное лицо снова озарилось: — Конечно, он может оказаться психом, сэр!

Макглашан бросил на Эдвина хмурый взгляд.

— Судя по всему, весьма вероятно, — буркнул он.

* Фунт — английская мера веса, равна 453,6 г.

— Где я? — спросил Эдвин, открыв глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как из дома выносят носилки с трупом.

— Постойте-ка, — велел Макглашан людям с носилками и, повернувшись к Эдвину, спросил: — Вы знали миссис Сидни?

— Да... То есть не то чтобы очень.

— Но узнаете ее, если увидите снова?

— О да. Она ведь жила здесь более трех лет.

Макглашан помог Эдвину подняться на ноги и подвел его к носилкам. Быстрым, бесстрастным жестом отдернув одеяло, он открыл лицо миссис Сидни, безобразно изуродованное и забрызганное кровью.

Вскрикнув, Эдвин снова рухнул в обморок. Макглашан подхватил его и сказал с отвращением:

— Точно, она. Эй, Нортон, Мэтью, снимите его с меня.

Из дома не торопясь вышел медицинский эксперт, доктор Голли.

— Смерть наступила менее часа назад, — сказал он. — Очевидно, умерла она не сразу.

— Конечно, не сразу. Она сама вызвала полицию, — ответил Макглашан.

— Насколько я могу судить сейчас, смерть вызвана суммарным эффектом побоев, нанесенных кулаками и дубинкой. Она была пьяна. Грязная история.

Эдвин побелел. Голова раскалывалась, его мутило.

— Давайте поднимемся в вашу квартиру, — предложил Макглашан.

— Хорошо.

Эдвин шел впереди, показывая дорогу, но замер на месте, увидев на деревянном полу вестибюля какие-то темные пятна.

— Что это? — спросил он.

— Кровь.

Эдвина стошнило. Потом он заявил, что не может оставаться в доме ни минутой больше.

Его доставили в участок и угостили чашкой чая. Он выпил ее и успокоился настолько, что смог отметить: их чай не

идет ни в какое сравнение с его чаем.

— Итак, — начал Макглашан, — где вы были час назад, то есть между семью пятнадцатью и семью тридцатью?

— В зоопарке.

— Зоопарк закрывается в шесть.

— Летом позже.

Макглашан кивнул. Этой ловушки Эдвин избежал.

— Что вы делали в зоопарке?

— Я часто хожу туда.

— Это не ответ.

— Мне нравится в зоопарке. Я хожу смотреть животных.

— Каких животных?

— Львов, тигров, любых, — солгал Эдвин и покраснел. Он почувствовал, что предает своих маленьких друзей. — Кроликов, — добавил он, запнувшись.

— Кроликов, — повторил Макглашан с большей экспрессией, чем само это слово заслуживало. И тотчас закурил, выказывая непринужденность и всяческое спокойствие. — Сигарету?

— Я никогда не курю и не пью. Можно я съем ириску? Они меня всегда успокаивают.

Макглашан задумался: в чем дело — действительно Эдвин слегка тронулся или разыгрывает кретина?

— Вы сказали, что часто ходите в зоопарк. У вас, должно быть, очень необычная работа, если она оставляет столько свободного времени.

— Я работаю в Би-би-си.

— Кем же, спортивным комментатором?

— О господи, конечно, нет. Я участвую в новой детской передаче «Выходи поиграть», ее передают ежедневно в три пятнадцать.

— Мои дочери всегда слушают ее.

— Что вы говорите! — вскричал Эдвин восторженно. — Сколько им лет?

— Одной пять, другой — два.

— Двухлетняя, пожалуй, немножко мала, чтобы понимать.

— Она взрослее своих лет.
— Кто ее любимые герои?
— Мул Вамбли.
— А, да, это мисс Олсоп.
— Простите?
— Мисс Олсоп озвучивает Вамбли. А я — кролика Зигфрида.
— Кролика, — повторил за ним Макглашан, сопоставляя услышанные сведения; результат его не удовлетворил. — Дайте, пожалуйста, ваш автограф для Дженнифер.
— Правда? Вам нужен мой автограф? — заколебался Эдвин. — Но ведь это официальный документ.
— Неважно, — выдавил улыбку Макглашан. — Я вовсе не пытаюсь выудить у вас признание в преступлении, которого, вы не совершали. Если хотите, подпишитесь просто «Кролик Зигфрид».
Эдвин так и поступил, размышляя о том, что даже в самом холодном сердце можно найти немного тепла, если хорошенько поискать.
— А теперь, — сказал Макглашан, пряча автограф в карман, — вернемся к делу. Вы часто видели миссис Сидни?
— О, бедная дама, да, конечно же, часто. Она вроде всегда то уходила, то приходила.
Макглашан хмуро усмехнулся.
— Учитывая ее профессию, меня это не удивляет. А вас?
— Но что у нее была за профессия, сэр? Я часто задумывался над этим, но не хотелось казаться навязчивым. Я всегда полагал, что у нее должно быть личное состояние.
Макглашан недоверчиво уставился на него.
— Давно вы здесь живете? — спросил он.
— Три года.
— А миссис Сидни?
— Она уже жила тут, когда я въехал.
— И вы ничего не заметили?
— Я заметил, что у нее как будто весьма обширный круг знакомств. Она вечно принимала гостей. Сказать по правде, я был слегка озадачен тем, что она никогда не

приглашала меня. В конце концов, я был ее соседом, — улыбнулся он грустно. — У нее день и ночь играло радио, но я, в общем-то, не обращал на это внимания. Я стеснялся ее беспокоить. Каждый раз, когда я спускался вниз пригласить ее к себе на чашку чая, я слышал из-за двери, что она не одна.

Наступило молчание.

— Не сидите на самом краешке стула, — сказал Макглашан. — Обопритесь лучше о спинку. Не хотелось бы, чтобы вы снова падали в обморок. — Он прочистил горло. — Миссис Сидни была самой обыкновенной проституткой.

— Как? — вежливо переспросил Эдвин.

— Уличной девкой. Шлюхой.

— Простите, я не понимаю.

В отчаянии Макглашан закатил глаза и грохнул кулаком по столу. Взяв себя в руки, он принял любезный вид и сказал:

— Женщиной легкого поведения.

— Не может быть, — прошептал Эдвин краснея. — Миссис Сидни? Нет, это просто невероятно!

— Она выискивала клиентов в парке и приводила их в свою квартиру под вами.

Впервые в жизни Эдвин вышел из себя.

— Какое безобразие! — вскричал он своим слабым голоском.

Это проявление характера отняло у него много сил, и он, без сомнения, был не в состоянии отвечать на дальнейшие вопросы. Поскольку денег при нем оказалось очень мало и он явно не мог оставаться в собственном доме, Макглашан одолжил ему фунт, и полиция подыскала для него комнату в маленькой гостинице по соседству. После ухода Эдвина констебль Мэтли спросил Макглашана, удалось ли выжать из него какие-либо сведения.

— Нет, — хмыкнул Макглашан. — Он славный маленький человечек, но когда придет время, из него получится чертовски дрянной свидетель. — И затем добавил: — Прямо не пойму, как такой человек смог выжить в наши дни.

Эдвин не смыкал глаз всю ночь и днем очень обеспокоил

своих коллег по работе. Он забыл слова песни «Апельсины и лимоны» прямо во время действия и никак не реагировал на подсказки мисс Олсоп. Кролик Зигфрид в этот день был на редкость мрачен, говорил монотонно и бессвязно. Со всех концов Англии мамы звонили в студию, жалуясь, что их дети не могли понять ни одного его слова.

Эдвин получил по чеку деньги и купил рубашку. Но не мог заставить себя даже приблизиться к зоопарку. Он вернулся в гостиницу и сидел в своем номере, уставясь в пространство. В половине седьмого к нему заглянул мимоходом Макглашан.

— Подбодритесь, — сказал инспектор.

Эдвин почти не реагировал на его слова.

Макглашан присел на кровать.

— Главное, не терять интереса к происходящему, — продолжал он. — Все время чем-нибудь занимайте себя, иначе свалитесь.

— К чему не терять интереса?

— К нашей работе. Вы — участник дела, понятно? Видели вечернюю газету?

Макглашан положил ее на колени Эдвину. Заголовки сообщали об аресте человека, убившего Гертруду О'Тул, известную также как миссис Сидни.

— Да, — сказал Макглашан, — мы взяли его сегодня утром. Простое дело. Очень рад, что взяли его сразу, а то публика уже начала дергаться. Столько нераскрытых убийств! Мы нашли у нее в сумке несколько его писем и взяли его прямо на рассвете, когда он спал на скамейке на набережной Виктории.

— Кто же он? — спросил Эдвин непроизвольно.

— Сутенер.

— Кто-кто?

Сам черт не разберет, с какой стороны начать искушение этого типа. Макглашан чувствовал себя так, будто имеет дело с дочкой священника.

— Человек, который живет на аморальные заработки женщины или нескольких женщин. — Макглашан пытался

придать своим словам как можно более естественное звучание.

— Неужели это возможно? — голос Эдвина дрожал.

— Женщина зарабатывает деньги, вступая в связи с мужчинами, затем большую часть заработанного отдает своему дружку. Такие женщины — существа весьма необычного эмоционального склада. Они ведут неполноценное существование, и, может быть, эта неразумная щедрость — просто попытка создать иллюзию нормальной жизни, которой они лишены. Не берусь судить. Я ведь не психолог. Я вижу только изнанку жизни, узнаю ее проявления, а что там, по другую сторону, определить не в силах. И ничего не могу изменить.

— Но что он за человек... Этот мужчина, который принимал такие деньги?..

Лицо Эдвина похоже было на маску страдания — страдания, вызванного ужасом.

Макглашан старался как мог умерить тон своего голоса, звучавшего вроде бы даже устало:

— Всегда найдутся мужчины, почитающие за великий дар умение получать нечто из ничего — доходы без затрат. Точно так же всегда найдутся мужчины, считающие женщин ниже себя. У них безошибочный нюх на женщин, согласных подчиниться им и получающих извращенное удовольствие, когда ими помыкают и издеваются над ними.

Макглашан был умным, даже интересным человеком. Несомненная отвага сочеталась в нем с пытливым, нередко парадоксальным умом, чего никак нельзя было предположить, глядя на его энергичное, подвижное лицо. В этой жизни, признавал он, есть место людям всяким и разным, просто ему не хотелось высказывать столь банальную истину при каждом удобном случае.

Сейчас Макглашан сидел напротив Эдвина, будучи в щекотливейшем положении кадрового сержанта, обнаружившего, что какой-то никудышный новобранец абсолютно не приспособлен к жизни и своим присутствием в части при-

носит ей больше вреда, чем пользы. Он доверительно наклонился поближе к Эдвину:

— Я вижу, все эти факты глубоко потрясли вас, Эпплкот, но подобные явления существуют, и было бы наивно притворяться, будто это не так. Поймите, я рассказываю вам обо всем этом отнюдь не для того, чтобы подразнить вас или вывести из себя. Мне ясно теперь: вы, наверно, жили обособленной, замкнутой жизнью, иначе вас не потрясло бы все это. Вы сами бы поняли, что из себя представляла миссис Сидни. И даже, пожалуй, сменили бы квартиру. Но, видите ли, вас должны вызвать для дачи показаний...

— Меня? — вскричал Эдвин.

— Да.

— Я умру на месте!

— Нет, не умрете. Просто я не хочу, чтобы вы, когда это случится, выглядели дураком. Не хочу, чтобы вы, стоя в зале суда, ссылались на то, что не знали, чем занималась миссис Сидни. Никто вам не поверит.

— Но ведь вы-то мне верите? — спросил Эдвин, отводя взгляд.

— Я вам верю. Но мне, чтоб уверовать, понадобились почти сутки, а у вас не будет столько времени, когда вы предстанете на свидетельском месте. Все эти законники — народ несговорчивый. Пожалуй, даже чересчур несговорчивый. И ни один из них, как я убедился, полицию не жалует. А если, что вполне возможно, обвинителем выступит сэр Клевердон Боуэр или сэр Джайлз Пэрриш — это люди весьма раздражительные и полные сарказма. Уж они постараются сбить вас с толку, запугать. Они жаждут признания виновности куда больше, чем самой истины.

— Не могу поверить этому; нет, не в Англии.

— Где угодно, Эпплкот. Они как боксеры. И им надо заботиться о своей репутации, как, впрочем, вам или мне. А проигранное дело репутацию их подрывает.

Эдвин сделался хмур и неразговорчив, поэтому Макглашан встал и направился к двери.

— Думаю, я еще буду гордиться *вами*, — сказал он.

— Я должен вам *фунт*, — вспомнил Эдвин.

— Об этом пока не *беспокойтесь*. — Впервые Макглашан почувствовал себя неловко и вышел.

Вернувшись в участок, он доверительно сказал констеблю Мэтли:

— На убийцу мне плевать, он получит свое. Но Эпплкот меня беспокоит. Попадись он в зубы Боуэру или Пэрришу, они его живьем сожрут. Вызывать его свидетелем просто глупо, но держу пари, они так и сделают.

Несколько дней спустя продюсер программы Эдвина мисс Батлер отвела его в сторону и спросила, не заболел ли он. Он явно не мог должным образом сосредоточиться, ужасно выглядел, под глазами появились мешки. Все сотрудники отдела были очень обеспокоены его состоянием. Эдвин выпалил ей все и залился слезами. Коллеги были с ним очень добры и участливы. Ему предоставили недельный оплаченный отпуск, чтобы он мог прийти в себя.

Но вынужденный отпуск не пошел ему на пользу, четыре дня подряд он просидел в гостинице наедине со своими грустными мыслями, не ел ничего и совершенно не спал. На пятый день его вызвали в суд свидетелем обвинения. Он ожидал этого с тех пор, как его опросил клерк грозного сэра Клевердона Боуэра, назначенного обвинителем по делу Арнольда Эхоу, предполагаемого убийцы. Встреча их прошла как во сне, и Эдвин ничего не помнил. Его охватило беспредельное чувство пустоты. Он ничего перед собой не видел. Черные, красно-бурые пятна расплывались перед глазами; странные, похожие на эмбрионов неведомых тварей тени с разных сторон вторгались в поле его зрения. В ушах звучала доносившаяся откуда-то издалека песня.

Теперь он сидел, ожидая, когда его вызовут перед лицо суда, и ничего вообще не чувствовал. Наконец он услыхал свое имя, прозвучавшее так, будто его выкликал нараспев легион застольных ораторов, и вошел в зал суда. Горло его перехватила судорога, нервы напряглись до предела. Стоило шевельнуть головой, и от виска к виску перекатывалась тяжесть, как груз в трюме корабля, застигнутого штормом.

Судья, лорд Стоубери, обладал типичной для его профессии внешностью. Голова грифа свисала ниже уровня сгорбленных плеч, белый парик, казалось, был напудрен рукой смерти. Трудно было понять, открыты его глаза или закрыты, поскольку тени, отбрасываемые бровями, ложились на его веки странным подобием тусклых темных зрачков. На стене, за спиной лорда Стоубери, огромный лев и единорог подпирали щит королевства *, вид у них был разгневанный и непреклонный. Сэр Клевердон Боуэр стоял, сунув большие пальцы рук в жилетные карманы, как воплощение самоуверенной гордыни. Сросшиеся черные брови пологом нависали над его серо-стальными глазами. Мистер Герберт Эммонс, защитник, восседал благодушный, румяный — точь-в-точь голова свежего голландского сыра на хлебосольном буфете. Лицо его покуда ничего не выражало, но губы зловеще скривились, отдыхая до времени.

Обвиняемый Эхоу с безразличным видом стоял у скамьи подсудимых, настолько неприметный, что, казалось, никак не мог быть истинным виновником столь изысканного собрания.

Итак, именно здесь осуществлялось британское правосудие, здесь людям объявляли, что они считаются невиновными, пока вина их не будет доказана, но дух, царивший здесь, убеждал их, что они очень и очень виновны, даже если докажут свою невиновность. Эдвин принес присягу, и сэр Клевердон выдвинулся на боевые позиции, подобно всесокрушающей артиллерийской установке. Это был человек, который все, за что бы ни брался в своей жизни, делал старательно и умело. В тридцатых годах он пробегал милю чуть больше чем за четыре минуты, представлял свою страну в международных соревнованиях по бобслею, побеждал на парусных гонках и автомобильных ралли, а однажды выиграл десять геймов в теннисном матче у самого Тилдена **. Он и сейчас

* Лев и единорог — геральдические животные на английском королевском гербе; они поддерживают щит, символизируя, соответственно, Англию и Шотландию.

** Тилден Бил, прозванный «Мистер Теннис», — американский теннисист 30-х годов, считался сильнейшим в мире.

казался спортсменом, вступившим в игру, которую намерен выиграть.

— Вы — Эдвин Эпплкот?

— Да, — еле слышно ответил Эдвин.

— Я правильно произношу ваше имя? Последний слог — «кот», или «коут»?

— Как вы предпочитаете.

— Вы, право, очень любезны. Насколько я понимаю, вы живете как раз над квартирой миссис Сидни, женщины, которую убили?

— Да.

— И давно вы там живете?

— Три года.

— Говорите громче, — перебил его судья. — Я не слышу ваших ответов, а я должен их слышать. Это — главное требование к свидетельским показаниям. Что бы вы ни сказали, все должно звучать внятно и громко!

Эдвин изысканно поклонился.

— Продолжайте, — сказал судья.

Поначалу вопросы шли довольно обыденные, ибо сэр Клевердон не сомневался в победе.

— Вы, разумеется, знали, что она была обыкновенной проституткой, — сказал он внезапно несколько минут спустя.

— Нет, — ответил Эдвин, закрыв глаза. Боже, какой ужас! Все эти вопросы на людях!

Сэр Клевердон метнул на него быстрый как молния взор.

— Вы не знали, что эта женщина была проституткой? Да бросьте вы, думаете, я вам поверю!

И он тотчас взглянул на своего клерка. Тот сидел ошеломленный. На предварительном опросе Эдвин сказал все, чему научил его Макглашан, но сейчас по какой-то причине говорил чистую правду.

— Но разве не является фактом, — продолжал сэр Клевердон, — что у покойной была привычка часто принимать гостей?

— Да.

— И она так отладила свое гостеприимство, что принима-

ла всех только поодиночке, разве нет?

— Я не знаю.

— Ладно, но ведь вы не видели, чтобы к ней заходили женщины?

— Нет, не припомню, сэр.

— А мужчин, входивших в ее квартиру, видели?

— Да, один или два раза.

— Видели ли вы когда-нибудь, как обвиняемый заходил в квартиру миссис Сидни?

Эдвин взглянул на Арнольда Эхоу.

— Не могу сказать без очков, сэр.

— Они у вас с собой?

— Да.

— Так наденьте их поскорее! — прогремел сэр Клевердон, лицо его побагровело от раздражения. — Итак?

— Может, и видел. Точно сказать не могу.

— Не можете? — повторил сэр Клевердон скептически.

— Нет. Я думаю, видел этого джентльмена раньше, но никак не вспомню где.

— Джентльмена?

В зале заплескался смех. Даже обвиняемый кисло улыбнулся. Судья застучал своим молотком.

Сэр Клевердон никогда не сталкивался с чем-либо подобным. Все, что Эдвин говорил сейчас, в корне отличалось от его предварительных показаний, а сэр Клевердон опирался на них, чтобы показать мерзкую, непристойную репутацию покойной и соответственно обрисовать всю ее компанию.

— Вы хорошо себя чувствуете? — спросил сэр Клевердон.

— Последнее время я чувствую себя неважно.

— Не стоит ли нам в таком случае освободить вас от дачи свидетельских показаний, пока вам не станет лучше?

Тотчас вскочил мистер Эммонс, щеки его раскраснелись от прилива крови и амбиции:

— Если мой высокочтимый и ученый друг закончил свой допрос, я хотел бы задать свидетелю несколько вопросов.

— Свидетель нездоров, милорд, — возразил сэр Клевердон.

— Но он, кажется, вполне в состоянии держаться на ногах, — ледяным тоном ответил судья, — он сохраняет вертикальное положение и дышит. Мысль о том, что он болен, исходит от вас. — И судья посмотрел на Эдвина поверх очков. — Как вы сами считаете, вы больны?

Эдвину очень хотелось поддаться искушению, но он был чересчур правдив.

— Нет, милорд.

— Очень хорошо. Вы закончили допрос свидетеля, сэр Клевердон?

— Пока что да, — резко ответил сэр Клевердон.

— Продолжайте, мистер Эммонс.

Этого-то сэр Клевердон и опасался больше всего. Откинувшись назад, он яростно зашептал что-то своему клерку, тот пожал плечами и стиснул до хруста пальцы.

Губы Эммонса сложились в улыбку, изображавшую дружелюбие.

— Где вы работаете, мистер Эпплкот?

— Я работаю в Би-би-си, сэр.

— То есть в Британской радиовещательной корпорации, — обернувшись к присяжным, пояснил Эммонс таким тоном, будто речь шла об одном из незыблемых и священных национальных институтов. — И каковы же ваши служебные функции в этом достойнейшем учреждении?

— Я участвую в детской передаче «Выходи поиграть».

— Как артист?

— Как певец, сэр.

— И давно вы работаете в этом качестве?

— Около шестнадцати лет, сэр.

— Шестнадцать лет! — вскричал Эммонс, словно речь шла о целом столетии. Ухватив пальцами лацканы пиджака и наклонив голову, он изготовился к атаке. — Иными словами, Британская радиовещательная корпорация считала возможным в течение шестнадцати лет использовать вас в программе, предназначенной развлекать и воспитывать юное поколение, то есть, друзья мои, мужчин и женщин завтрашнего дня, именно в том возрасте, который особенно важен для

формирования их личностей и когда, увы, легче всего посеять в их душах семена зла и разврата. Отсюда следует, что Британская радиовещательная корпорация считает вас человеком достойным. Вы, мистер Эпплкот, согласны с суждением корпорации? Вы сами считаете себя человеком достойным?

— Да, сэр, хотелось бы думать, что это так.

— Здесь, знаете ли, не место скромничать. Как по-вашему, вы человек нравственный?

— Надеюсь, что так.

— Будьте любезны ограничивать свои ответы словами «да» и «нет», — отрезал Эммонс, упустив на мгновение свою улыбку. Он ненавидел эту английскую черту — неспособность хорошо говорить о самом себе на людях, даже когда это просто необходимо.

— Мне бы хотелось быть нравственным человеком, сэр.

— Но ведь вы не считаете себя безнравственным?

— О нет, сэр, — в ужасе ответил Эдвин.

— Вот и отлично. Итак, поселились ли бы вы, человек достойный и нравственный, в доме, заведомо зная, что в квартире под вами живет известная женщина ночи?

— Женщина ночи, сэр?

— Проститутка! — рявкнул Эммонс.

— О нет.

— Как долго вы проживали в этом помещении?

— Три года, сэр.

— И когда вы въехали, миссис Сидни уже жила там?

— Да, сэр.

— Таким образом, можно предположить, что она не давала никаких оснований считать ее женщиной, которая живет, торгуя своим телом, ибо в противном случае вы не остались бы там?

— Нет, сэр, думаю, не остался бы.

— И за три года у вас и в мыслях ни разу не возникло подозрения, что она может принадлежать к древнейшей в мире профессии?

— Древнейшей в мире профессии, сэр? Я не совсем понял.

— Что она была... была проституткой! — Эммонс сбился на крик. Он негодовал на глупость, разрушившую всю элегантность его речи. Потом он бросил взгляд на сэра Клевердона, тот хмуро улыбался.

— Нет, сэр, я не знал.

— Но теперь знаете, что это так?

— Мне было сказано...

— Сказано? Кем?

— Полицией.

Зал оживился. Эммонс взглянул на присяжных.

— Официально заявляю, — сказал он, — пятно на репутации женщины, ее здесь нет и она, увы, не может защитить себя, — это пятно грубо сфабриковано полицией, жаждущей скорейшего вынесения приговора. Тогда как достойный и нравственный человек, который жил в наивозможнейшей близости от покойной, не заметил никаких признаков аморального поведения соседки на протяжении трех лет, то есть тридцати шести месяцев, более чем тысячи дней!

Сэр Клевердон заявил протест: мистеру Эммонсу предоставили трибуну для допроса свидетеля, а не для выступления с речью перед присяжными.

Судья принял протест, и мистер Эммонс тотчас извинился — без малейшего раскаяния.

— Присмотритесь как следует к обвиняемому, — продолжал он. — Я полагаю, вы никогда не видели его прежде.

— Я не мог бы в этом поклясться.

— Как по-вашему, у обвиняемого оригинальное лицо?

— Не знаю даже, что ответить на это, сэр.

— Не знаете? Так я вам скажу. Вы должны ответить «да» или «нет».

— Я не люблю высказывать личные суждения о лицах других людей, сэр. В конце концов, им ничего не поделать со своим лицом — так уж они родились.

Судья ответил на безмолвный призыв Эммонса стуком молотка.

— Дальнейшие изыскания в этом направлении представляются мне не особенно плодотворными, мистер Эммонс, — заметил судья.

— Я всего лишь хочу установить тот факт, что мистер Эпплкот видит обвиняемого впервые, милорд.

— Свидетель уже ответил, что не мог бы в этом поклясться. Поскольку он дает показания под присягой, мы должны принять его слова на веру. Он вполне мог видеть обвиняемого, но не помнить об этом.

— А мог и не видеть, — опрометчиво вставил Эдвин.

— Извините? — Теперь уже и судья начинал терять терпение. Уста его сжались, будто на них наложили швы.

— Понимаете, милорд, — объяснил Эдвин. — Я мог видеть лицо мистера Эхоу в автобусе или на улице. Оно мне, безусловно, кажется очень знакомым, но, может быть, именно потому, что я где-то видел кого-то чрезвычайно на него похожего.

— Мы здесь не для того, чтобы проверять вашу память на лица, — ядовито заметил судья. — Возможно, с разрешения мистера Эммонса, мне будет дозволено вас спросить: видели ли вы когда-нибудь, как обвиняемый входил в квартиру покойной?

— Может, и видел, насколько могу судить.

— А может, и нет. Очень хорошо, продолжайте, — пробормотал судья, тяжко вздохнув. — Будем считать, что нет.

— Видите ли...

— Хватит! — сказал судья. — Мы попусту тратим время.

— Вы когда-либо разговаривали с миссис Сидни? — возобновил допрос мистер Эммонс.

— Да, сэр. Но дальше «доброго утра» и «здравствуйте» наш разговор не заходил.

— Могли бы вы описать ее как приятную особу?

— Да, сэр. Очень приятную. И разговаривала учтиво. Возможно, ее речь и была несколько вульгарной, но не мне судить об этом.

— Как может человек разговаривать одновременно и вульгарно и учтиво? — резко бросил судья.

— Это действительно трудно, я допускаю, сэр. Но мне не хотелось бы дурно отзываться о людях. Это не в моих правилах.

— Возьмите себе лучше за правило отвечать на все наши вопросы, а не изощряться здесь в любезностях. Итак, она, по-вашему, говорила учтиво или вульгарно?

Судья ненавидел серый цвет с такою же силой, как любил черный и белый.

— Я бы сказал, учтиво.

— Очень хорошо. Продолжайте.

— Но с оттенком вульгарности.

Судья всплеснул руками.

— Видите ли, она, я думаю, ничего не могла с этим поделать, — поспешно добавил Эдвин.

— Не было ли в ее облике каких-либо черт, которые ассоциировались бы у вас с ее предполагаемой профессией? — спросил мистер Эммонс. — Ни перебора по части косметики или духов, ни высоких каблуков, черных чулок, чего-нибудь еще в этом роде?

— Она пользовалась очень крепкими духами, сэр, их запах чувствовался даже у меня наверху.

— Вы хотите сказать, что запах ее духов проникал сквозь перекрытия и ковры?

— О да, сэр, и вызывал у меня головную боль. Я ей раз или два жаловался на это, самым вежливым образом.

— Вы высказывали свои жалобы устно?

— Нет. Каждый раз, сойдя вниз, я слышал через дверь, что она не одна. А когда у нее не было гостей, она уходила из дому.

— Вы хотите сказать, что подслушивали под дверью?

— О нет, сэр, просто голоса всегда были слышны еще на лестнице.

— И вы подслушивали эти разговоры на лестнице?

— Нет, сэр, я их слышал, но никогда не прислушивался к ним. Это было бы неприлично. Да и не всегда слышались разговоры. Иногда — просто звуки радио или передвигаемой мебели.

— Понятно. — Эммонс прочистил горло. — Как же вы высказывали свои жалобы, если не делали этого устно?

— Я писал записки, которые подсовывал ей под дверь.

— Вы когда-либо получали на них ответ?

— Никогда. Если не считать... — Эдвин запнулся.

— Продолжайте.

— Однажды дверь распахнулась, как раз когда я подсовывал под нее записку.

— Кто же ее открыл?

— Джентльмен.

— Джентльмен? Как он был одет?

— На нем была нижняя рубашка.

— И что еще?

— И все.

— Вы хотите заявить суду, — теперь запинался мистер Эммонс, — что дверь квартиры миссис Сидни открыл человек, одетый в одну лишь нижнюю рубашку?

— Возможно, на нем были еще и носки, я не помню.

— У меня больше нет вопросов.

Поднялся сэр Клевердон, выгнув брови триумфальными арками.

— С вашего разрешения, милорд, мне хотелось бы задать свидетелю еще несколько вопросов.

— Надеюсь, не очень много. Приступайте.

— Вы запомнили лицо того человека, или джентльмена, если вам так больше нравится? Узнали бы вы его при встрече?

— Он, пожалуй, был среднего роста, темноволосый, с чистой кожей.

— Есть ли сходство между ним и обвиняемым?

— Да, сейчас, когда вы это сказали, я нахожу большое сходство между ними, хотя и не мог бы поклясться, что это — он.

Слова Эдвина вызвали возбуждение в зале, и Эхоу посмотрел на него с откровенной ненавистью.

— Что же вам сказал тот человек?

— Я не понял его слов, но звучали они так... — И Эдвин

произнес два слова, которые никогда не употребляются в обществе.

В зале послышался изумленный вздох, какая-то девушка хихикнула, почтенный господин выкрикнул что-то неразборчивое, а судья призвал всех к порядку.

— Отсюда ясно, к какой утонченной публике принадлежали друзья вашей учтивой соседки, — заметил сэр Клевердон.

— Но что означают эти слова? — спросил с болью в сердце Эдвин.

— Ничего не означают, — ответил сэр Клевердон, — но, при всей их популярности в рядах вооруженных сил, я не советовал бы вам украшать ими свою речь в цивильном обществе. — И добавил, чтобы помочь Эдвину оправиться от шока: — Это один из способов сказать: «Будьте любезны удалиться». *(Смех в зале.)*

Когда, наконец, тишина была восстановлена, сэр Клевердон задал следующий вопрос:

— Когда это произошло?

— Около одиннадцати часов утра.

— Но когда именно?

— Ах да... — Эдвин еще не совсем пришел в себя. — Утром того дня, когда произошло убийство.

Зал оцепенел. Эхоу, водитель грузовика, давал показания перед Эдвином и охотно признал, что поддерживал с миссис Сидни мимолетное знакомство, но заявил, что в день убийства с девяти часов находился у сестры в Айлингтоне. Сестра подтвердила алиби.

— Вы уверены? — спросил Эдвина сэр Клевердон. — Седьмого июля?

— Я не помню даты, но это было именно в тот день. Я как раз шел на работу.

— Когда вы уходите на работу?

— Около одиннадцати.

— Разве вы не знаете точно, когда уходите?

— Около одиннадцати.

— Вы хотите заявить суду, что не знаете точно, в котором

часу уходите на работу?

Эдвин начал запинаться. Это была последняя капля.

— Разве люди обязаны знать точное время, когда они уходят на работу?

— Да, — отрезал сэр Клевердон.

Неужто он один такой в целом мире — урод, не похожий на всех? И кролики никогда не смогут разделить с ним это ужасное испытание. Сколько еще сможет он выстоять в этой кошмарной комнате, которая, кажется, битком набита людьми, досконально знающими, что и в котором часу делали они сами и даже что и когда должны делать другие.

— Около одиннадцати, — услышал он собственный голос.

— К которому часу вы должны приходить в Би-би-си?

— К одиннадцати.

— Вы хотите сказать,, что уходите из дому около одиннадцати, чтобы к тому же часу быть на службе, пройдя чуть не полгорода?

— В тот день я опоздал.

— Когда вы пришли на работу?

— Где-то после одиннадцати.

— Насколько позже одиннадцати?

— Где-то в одиннадцать десять... одиннадцать пятнадцать.

— Сколько времени отнимает у вас дорога от дома до Би-би-си?

— Около двадцати минут.

— Значит, будет логично предположить, что вы покинули дом между десятью пятьюдесятью пятью и десятью пятьюдесятью?

— Я так полагаю.

— Почему же вы не сказали мне это с самого начала?

— Почему? — выпалил Эдвин. — Потому что я поклялся говорить правду и ничего, кроме правды, и с моей стороны присяга эта была ошибкой.

— Что-что? — переспросил судья.

— Я не знаю правды! — вскричал Эдвин, широко раскрыв глаза. — Понимаю, я должен точно знать все, но я не знаю!

Не знаю, в котором часу я покинул дом, да если б и знал минута в минуту, все равно не узнал бы с точностью до секунды, а если я не могу рассказать вам все до мельчайших подробностей, значит, не сумею сказать правду.

— Говорите громче! — приказал судья.

Странно, Эдвину казалось, будто он кричит во весь голос. А оказывается, он все это бормотал себе под нос. Закрыв глаза, он резко замотал головой из стороны в сторону, но, открыв глаза снова, лучше видеть не стал.

Сэр Клевердон впился в него взглядом — сущий орел. Судья — гриф, а мистер Эммонс — крот.

— Во всяком случае, вы покинули дом утром после половины одиннадцатого?

— Должно быть, так.

— Вы возвращались домой до семи вечера?

— Думаю, что да.

— Думаете, что да?

— Пожалуйста, — взмолился Эдвин, — нельзя ли помедленнее?

— Говорите громче, — напомнил судья.

Нечеловеческим усилием воли Эдвин взял себя в руки.

— Передача выходит в эфир в три пятнадцать, — сказал он. — Ровно в три пятнадцать. И кончается в три сорок пять.

— Что вы делали после окончания передачи?

— Вернулся домой выпить чаю.

— Прямо домой?

— Да.

— Итак, мы можем допустить, что вы вернулись домой между четырьмя и четырьмя пятнадцатью?

— Полагаю, что так.

— В каком смысле «полагаете»? Это ведь очевидно, не правда ли?

— Если вы так считаете, сэр.

— Да, я так считаю. Долго вы оставались дома?

— Достаточно долго, чтобы заварить чай и съесть лепешку. Я намазал ее маргарином и малиновым вареньем. Затем я помыл посуду, вытер ее, убрал в буфет и пошел в зоопарк.

— Все это, должно быть, заняло еще четверть часа?

— Я не знаю.

— Вы, наверно, на редкость неторопливый едок?

— Я не знаю.

— Просто невероятно, что находятся люди, ухитряющиеся пройти по жизни, не имея ни малейшего представления что, когда и как именно они делают. Попрошу вас сосредоточиться, если можете. Вернувшись домой выпить чаю, не обнаружили ли вы какие-либо признаки продолжавшегося присутствия этого человека в квартире миссис Сидни?

— Я слышал голоса.

— Голоса?

— Кричал мужчина. Играло радио, передавали танцевальную музыку. Потом, судя по звуку, разбилось стекло.

— Вы опознали тот же голос, который бросил вам в лицо грязное ругательство?

— Не могу сказать. Может, тот, а может — и нет.

— Вы разобрали какие-либо слова, произнесенные этим голосом?

— Да. Нет, я не смею произнести их вслух, боюсь, они окажутся неприличными.

— Я приказываю вам рассказать нам, что вы услышали, — вмешался судья, наклонясь вперед, — и громогласно.

— Я услыхал нечто вроде: «Только пикни — а может, «пискни»? — и я из тебя отбивную сделаю!» Да, нечто в этом роде.

— Говорил мужчина?

— Да, а это что-то совсем ужасное? Я и запомнил все, потому что ничего не понял.

— Вы слышали ее голос?

— Нет, только ее смех. Я все время слышал ее смех, вплоть до самого ухода.

— А что вы подумали, услыхав звон бьющегося стекла?

— Наверно, решил я, кто-то уронил стакан.

— Ничего более бурного вы не заподозрили? Не прозвучало ли это так, будто стакан скорее швырнули, а не уронили?

— Какой в этом смысл?

— Если стакан швырнуть с достаточной силой, можно поранить человека, в которого целишься.

— Никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь поступал так.

— Говорите громче, — сказал судья.

— А когда вы отправились в зоопарк, — голос сэра Клевердона звучал очень настойчиво, — вы не заметили никакого транспортного средства, стоявшего у дома?

— Я не помню.

— Шестиколесный грузовик?

— Я не знаю.

— Вы вообще не заметили никакой машины?

— О, я припоминаю, какие-то мальчишки играли на улице в крикет. Мяч закатился под машину, и один мальчик полез доставать его из-под колес. Я сказал ему, что это опасно и надо быть поосторожнее, потом заглянул в кабину удостовериться, что там нет водителя.

— Сколько лет было этому мальчику?

— Лет десять, двенадцать, а может — четырнадцать. Я не очень хорошо различаю возраст детей.

— Если он играл в крикет, ему, вероятно, было больше шести.

— О, думаю, так, ведь он курил.

— Курил? Вы сказали, там была машина. Сумеет ли мальчик в том возрасте, когда уже курят, залезть без труда под современный легковой автомобиль?

— Нет, пожалуй, эта машина была побольше легкового автомобиля.

— Вам пришлось нагнуться, чтоб заглянуть в кабину?

— Напротив, мне пришлось встать на цыпочки.

— На цыпочки? Если только это не был лимузин, выпущенный до тысяча девятьсот десятого года, полагаю, вы видели грузовик — серый грузовик марки «Лейланд» и, возможно, с белой надписью на дверце: «Братья Хискокс, Хэмел Хэмпстед»?

Эммонс выразил протест против формы, в которой был задан вопрос. Сэр Клевердон снял вопрос, но никто не мог отрицать, что он уже успел задать его.

— Я кое-что припоминаю об э т о м , — по собственной инициативе заявил Эдвин, потирая лоб.

Эхоу заметно напрягся.

— Говорите г р о м ч е , — распорядился судья.

— Помню... там была картинка... похоже, переводная... юная дама в весьма нескромном купальном костюме... с цветным мячом в руках... Картинка была наклеена на стекло, через которое водитель видит дорогу... лобовое стекло, так, кажется? Я еще, помню, удивился, как полиция допускает нечто подобное, ведь картинка эта закрывает водителю обзор и наводит на непристойные мысли.

Хотя как улика все это выглядело не очень убедительно, Эхоу решил, наверно, что угодил в ловушку, и, будучи человеком грубым и несдержанным, вскочил и разразился в адрес Эдвина отвратительной бранью, которую тот, к счастью, не понял.

Сэр Клевердон выразительным жестом бросил на стол свои бумаги.

— У меня больше нет в о п р о с о в , — пробормотал Эммонс.

Судья вперил взгляд в Эдвина и произнес голосом, скрипевшим как палая осенняя листва под подошвами башмаков:

— Если вам когда-нибудь еще случится давать показания в суде, настоятельно рекомендую вам проявить большую наблюдательность, а также излагать свои мысли более связно и членораздельно. Сегодня вы сначала обрисовали покойную в розовых тонах, как совершенно безобидную особу, но затем, в процессе перекрестного допроса, дали столь противоположное описание ее характера, что трудно не заподозрить вас в заведомом намерении исказить истину с самого начала. Я не думаю, что это так, поскольку очевидно: вы человек, не привыкший давать показания в суде, и искренне верите, будто каждый имеет право на истолкование сомнений в его пользу. Но одно дело толкование сомнений и совсем другое — абсолютная слепота к фактам. Она приводит к даче показаний, чреватых судебной ошибкой, если они не будут подвергнуты анализу самыми строгими методами, принятыми в системе нашего судопроизводства. Я призываю

вас подумать как следует над моими словами, ибо ваши сегодняшние показания были самыми путаными и самыми нелогичными из всех, какие мне довелось выслушать за время работы в суде. Прошу следующего свидетеля!

Эдвин, конечно же, не был главным свидетелем. Сестра Эхоу, не выдержав повторного допроса, призналась, что алиби подсудимого было вымышленным. Грузовик опоздал к месту назначения более чем на двадцать четыре часа, а полиция обнаружила письма и отпечатки пальцев, которые в конечном счете и отправили Эхоу в тюрьму до конца дней.

Но Эхоу оказался не единственным человеком, чью дальнейшую жизнь изменил этот судебный процесс. Эдвин не мог уже возвратиться домой. Он остался в гостинице. Мучимый опасениями, он то и дело проверял, заперта ли его дверь. Купил маленькую записную книжечку и скрупулезно отмечал в ней с точностью до минуты время, выхода из дома и прихода на работу. Сидя в автобусе, он пристально обшаривал глазами дорогу, высматривая что-либо подозрительное или просто достойное внимания. Он стал чрезмерно наблюдателен, в его поведении появилась непонятная резкость.

На работе он приветствовал свою старую добрую знакомую мисс Олсоп, говоря ей вещи, которых никогда не говорил раньше:

— Доброе утро, мисс Олсоп, вы, как я замечаю, сегодня в зеленом. Это зеленый твид, не так ли? И камея с женским профилем времен короля Георга. Туфли? Коричневые башмаки. Чулки из крученой пряжи. Благодарю вас. Пока что у меня все. — И Эдвин заносил все эти подробности в записную книжку. Той же странной процедуре Эдвин подвергал и мисс Батлер, а иногда он неожиданно переставал петь посреди передачи, и не потому, что забывал слова, а потому, что замечал вдруг — положение минутной стрелки часов на стене студии не совпадает со стрелкой его ручных часов. И только в роли кролика Зигфрида он оставался таким, каким был прежде — мягким, чудаковатым и чуточку трагичным.

Мисс Батлер героически пыталась понять, что с ним происходит.

— Вы больше не ходите в зоопарк, как раньше? — сердечно спросила она.

В глазах Эдвина появилось лукавое выражение.

— Нет, — ответил он, — не хожу. Ведь животные не умеют говорить, и, если там со мной что-нибудь случится, они не смогут давать показания.

— Но что там может случиться с вами?

— Убийство, — не моргнув глазом ответил Эдвин.

— Убийство? Кому понадобится убивать вас?

— В Лондоне миллионы людей, — уклончиво ответил Эдвин. — Но это не сойдет им с рук, теперь уж никак не сойдет. Вам могу рассказать: когда я прихожу вечером домой, я запираю дверь и пишу на листе бумаги, кто я и чем занимаюсь, адресую письмо «Тому, для кого это представит интерес», и прячу его под матрас. В этом письме я перечисляю все свои передвижения за день, всех собеседников и излагаю содержание всех разговоров с ними. Нынче вечером я упомяну в нем и вас, мисс Батлер, и наш разговор, — Эдвин посмотрел на часы, — который состоялся в шестнадцать часов восемь минут.

— Но зачем вам это, мистер Эпплкот? — спросила мисс Батлер, начиная испытывать острое беспокойство.

— Чтобы быть готовым к даче свидетельских показаний, мисс Батлер. Не знаю, доводилось ли вам давать показания в суде, но они должны звучать ясно и внятно. Уж не знаю, заметили ли вы, я приучаю себя говорить более громким голосом.

— Это заметили звукооператоры. Вы создаете им немало затруднений.

Эдвин рассмеялся.

— А знаете, почему я прячу письма под матрас? Полиция обязательно их обнаружит, но ни у одного убийцы не хватит сообразительности туда заглянуть. — Он как-то неуверенно нахмурился. — А вдруг хватит? Пожалуй, надо подыскать другое место.

Отдел детских передач расстался с Эдвином Эпплкотом с неподдельным сожалением. Но слишком уж он рассеянно исполнял детские песенки, и поведение его вызывало все большее и большее беспокойство. Не сознавая жестокого смысла своего подарка, коллеги преподнесли ему на прощание настольные часы с красиво выгравированной надписью. Ни одни часы не способны долго показывать абсолютно точное время, и поэтому Эдвину предстояло провести немало мучительных минут, сверяя настольные часы с наручными и пытаясь определить, какие из них идут верно.

Инспектор Макглашан с большой картонной коробкой под мышкой ожидал в приемной доктора Фейндинста. Наконец доктор вошел в комнату, и они пожали друг другу руки.

— Ну как он? — спросил Макглашан.

— Он очень милый и славный человечек, — с легким австрийским акцентом ответил доктор Фейндинст. — Совершенно безобиден и не доставляет никаких хлопот, не то что некоторые другие наши пациенты — буйные параноики и прочие. Хотите навестить его?

— А можно?

— Разумеется, идите за мной.

— Можно оставить здесь коробку?

— Конечно.

Когда они шли по коридору, доктор Фейндинст сказал:

— Главная наша проблема — обеспечить ему полный покой. Он до того обостренно наблюдателен, что изнуряет себя, пытаясь заметить все происходящее вокруг и описать.

Макглашан вошел в комнату Эдвина. Шторы на окне были задернуты.

— Помните меня? Я — Макглашан.

— Конечно, помню. Немецкая овчарка.

— Что?

Эдвин был сама сердечность.

— Прошу вас, инспектор, присаживайтесь. Ну что ж,

больше меня врасплох не застанете, нет. Они задернули шторы на окнах, создают мне покой, но я все равно подглядываю из-за них на улицу, когда никого нет. Я как раз подглядывал, когда вы шли по коридору. Вы едва не застигли меня, но не успели.

— Что вы поделываете? — спросил инспектор. И получил совершенно неожиданный ответ.

— Я? Сейчас расскажу вам. Встал в шесть тридцать семь, с шести тридцати семи до шести пятидесяти одной умывался, в шесть пятьдесят две почистил зубы, позавтракал вареным яйцом. Яйцо новозеландское, судя по надписи на скорлупе. Выпил чаю с одним куском сахара, съел две булочки с маслом. Завтрак продолжался ровно с семи девяти до семи двадцати одной. Читал газету «Ньюс кроникл», дополнительный выпуск, с семи тринадцати, когда я ее развернул, до семи двадцати девяти, когда я ее положил. После этого находился здесь, в своей комнате, если не считать короткой прогулки. Я вышел в десять девятнадцать и вернулся в десять сорок шесть. И было десять пятьдесят семь, когда вы вошли в комнату. Кстати, инспектор, который час на ваших?

— Ровно одиннадцать.

— Ваши часы спешат почти на целую минуту.

— О, благодарю вас, — Макглашан сделал вид, будто подводит часы.

— Послушайте, — прошептал Эдвин, — если там через дорогу будет совершено преступление, — и он показал пальцем на окно, — могу сообщить: в девять сорок одну голубой «остин»-универсал подъехал к дому восемнадцать и стоит там до сих пор. Номер «Бе Икс Ка — семьсот пятнадцать».

— Большое спасибо, — грустно ответил Макглашан, притворяясь, будто записывает номер. — Если мы его поймаем, то только благодаря вам.

Наступила неловкая пауза, во время которой Макглашан пытался гипнозом вернуть Эдвина в нормальное состояние.

— По кроликам не скучаете? — спросил он наконец.

— Нет, — ответил Эдвин, — они счастливы там, где они есть. И нет у них наших проблем.

— Может, и есть, просто мы совершенно не понимаем их языка.

— Да, возможно, и есть, — уклончиво вздохнул Эдвин.

— А по Би-би-си не скучаете?

— Нет, ведь я теперь занят по-настоящему важной работой — собираю материал для свидетельских показаний.

— А по вас скучают.

— Кто?

— Дети.

— Мне не до детей сейчас. Это — взрослый мир. И здесь нельзя быть чересчур мягким, нельзя быть слепым к фактам. — Эдвин с истовым благоговением пересказывал слова судьи.

Когда Макглашан вернулся в кабинет доктора Фейндинста, тот спросил:

— Как вы его нашли?

— Будь прокляты все юристы! — злобно ответил Макглашан. — Чем они только занимаются? Чтобы выстроить свои доказательства, они подберут всегда из ряда вон выходящий случай, изобилующий извращенными и из ряда вон выходящими обстоятельствами, и представляют его как обыденное и естественное событие. Почему этот маленький человечек должен знать обо всех ужасах, которые вносят в жизнь люди, воспринимающие их как нечто само собой разумеющееся? Почему мы лишаем его права оставаться наивным простаком? Законники покарали убийцу и довели свидетеля до умопомешательства. И это называется правосудием! А где же теперь те, кто сделал это? Расселись по своим клубам, обдумывая, как бы еще вставить нам, работягам, палки в колеса. А этот бедный недотепа торчит здесь, изобретая прорву свидетельских показаний, которые его никто никогда не попросит давать. Меня от этого просто тошнит!

— Вас послушать, — ухмыльнулся доктор, — так вы уже

созрели, чтобы занять одну из наших палат для буйных.

— Я вам кое-что скажу, доктор, — заговорщицки наклонился к нему Макглашан. — В этом человечке есть некая изюминка; нет-нет, никакая это не блажь, да и мысль, собственно, не моя. Я узнал об этом от моей пятилетней дочки. Зашел я вчера в спальню пожелать ей спокойной ночи, а она смотрит на меня и спрашивает: «Папа, почему у кролика Зигфрида стал другой голос?» Ей-богу, доктор, я чуть было ей все не рассказал. И когда-нибудь расскажу.

— Что ж, как знать, может, год или два спустя он сможет туда вернуться.

Макглашан покачал головой.

— Вы не хуже меня знаете, что это неправда, доктор. Слишком сильную травму нанесли они ему в своем судилище. Он этого не вынесет. Если порядок вещей изменился бы, жизнь, может, и стала б ему по плечу, — вот все, что я хочу сказать.

— Мы живем в жестоком мире, инспектор, — вздохнул врач. — Наши с вами профессии тому свидетельства.

— Жестоком? — переспросил Макглашан. — Нет, он грязен! Грязен! И часто те, кто выглядят самыми чистыми, и есть самые грязные. Те, кто облечены ответственностью.

Осторожно подняв свою коробку, Макглашан направился к двери. Прежде чем открыть ее, он обернулся и сказал:

— Нам жаловаться не приходится. Мы за себя постоять сумеем. — И с непонятной робостью посмотрел на свою коробку. — Я принес ему подарок, но, пожалуй, после нашего разговора лучше не отдавать его. Подарю своей дочке.

— Что это? — спросил доктор Фейндинст.

Макглашан воткнул обратно в коробку высунувшийся оттуда краешек салатного листа и сказал тихо:

— Кролик.

Неудавшееся уединение в Билливанге

В сердцах многих европейцев самой Европе отведено точно такое же место, как *школе*, — ее любят и ненавидят одновременно. Уроженцу Европы ничто не заменит ее обычаев, а тайные интимные радости европейской жизни не воссоздать на более широких выгонах; но все-таки кажется, будто строгие законы ее зиждутся на незыблемом основании фанатизма, а образ действий определяется вековой глупостью. Каждые лет двадцать зов трубы, привычный, как бой часов, обязывает всех здоровых мужчин собираться на вокзалах и отбывать к границам под печальные взмахи бесчисленных белых платочков и рев военных маршей из трескучих репродукторов. К каким границам? К любым, ибо они изменчивы, как приливы и отливы. Политики именуют их историческими, генералы — стратегическими, простой люд — обрыдлой неразберихой.

Иржи Половичку от всего этого просто тошнило. Его начало тошнить еще в тысяча девятьсот тридцать девятом, а уж теперь — и подавно. Родившись в тысяча девятьсот четвертом году от чеха и словачки, он по окончании первой мировой войны оказался венгерским подданным, а все потому, что отец его обосновался не на том берегу реки. В конце концов старый пан Половичка решил вернуться на родину, поскольку у национальных меньшинств в Центральной Европе были свои проблемы. Желая удалиться от Венгрии так далеко, как только позволят весьма причудливые географические очертания Чехословакии, он открыл небольшую бакалейную лавку в Тешине, шахтерском городке на польской границе. Жизнь шла относительно

спокойно вплоть до тревожных событий конца тридцатых годов, когда за одну ночь семья Половичков стала польской.

О том, чтобы эмигрировать снова, не могло быть и речи: семья вложила все состояние в оспариваемый город. Что бы ни говорили патриоты, открывая памятники, угроза голодной смерти куда более мощный аргумент, чем абстрактное чувство привязанности к родным местам. Да и все равно в скором времени Гитлер превратил все высокие чувства в ничто. Иржи и двух дней не прослужил в польской армии, среди людей, язык которых с трудом понимал, как оказался вместе с ними в плену, перенося бессмысленные тяготы по прихоти «расы господ».

Некоторое время он копал картошку на полях добродушного фермера-силезца, потом занятию этому помешало предложение вступить в Богемско-моравскую бригаду, предназначенную в соответствующий момент затыкать бреши на Восточном фронте. А когда приглашение было отклонено с великой вежливостью, немецкое правительство восприняло это как личное оскорбление, и Иржи предоставили возможность посетить Равенсбрюк; визит был прерван лишь полтора года спустя в связи с переводом Иржи в Освенцим. В гестапо ему ясно дали понять, что рассматривают его попытку прикинуться поляком как стремление умышленно ввести их в заблуждение; будучи чехом, заявили они, Иржи находится теперь под протекторатом рейха, и, стало быть, его служба в иностранной — в данном случае польской — армии есть не что иное, как измена.

К счастью для Иржи, у гестаповцев ушло несколько лет на определение точной степени его вины, и он выжил, переводимый из одного лагеря в другой, пока его не освободили русские. Он вернулся в Чехословакию.

Отец его исчез бесследно, то же случилось и с матерью. Семейной лавки больше не существовало. Сорокадвухлетний Иржи чувствовал себя сиротой, несчастным, безразличным ко всему, опустошенным, у него не было сил даже на самоубийство. Жалеть себя в такой ситуации было бы

смешно. Слишком долго пребывал он в апатии, слишком глубока и чиста была нанесенная ему рана. Хотелось просто ходить, двигаться, снова дышать свободно: вдох, выдох, вдох, выдох.

Некоторое время он работал ночным сторожем на колбасной фабрике. Он привык к одиночеству и, в сущности, на людях чувствовал себя потерянным. А к свободе все еще не привык; каждую ночь варил он себе чудовищный на вкус кофе, и каждую ночь ему казалось чудом, что такое вообще возможно: захотеть кофе и сварить его. В эти ночи он постепенно оттаивал. И понемногу осмеливался думать. Со временем он даже отважился испытывать сомнения. Как будто медленно и болезненно оправлялся от травмы, травмы души.

Вскоре он был уже в состоянии обдумать и оценить свое положение. Вспомнился вдруг с какою-то даже надеждой дальний родственник в Америке... Америка — симфония «Из Нового Света» Дворжака. Там, считал вроде бы Дворжак, чех — под эгидой конституции — может быть чехом. Следующая мысль Иржи была: а ему-то самому, Иржи Половичке, ясно, чех он в этом смысле или не чех? Он ведь стремился лишь к одному — существовать, ну и, пожалуй, вдобавок найти повод, чтоб больше не быть пессимистом. И потому страстно желал очутиться в каком-нибудь месте без всяких традиций, бежав от оранжерейных нравов Европы.

Случайная фраза, подслушанная на работе, внушила ему мысль об Австралии. И еще в кабинете директора-распорядителя фабрики висела на стене карта, усеянная маленькими флажками, отмечавшими места, где был хороший сбыт колбасных изделий.

Болгария, если карта эта заслуживала доверия, не потребляла ничего, кроме колбасы. Венгрия имела тенденцию производить свою собственную, зато Греция и Турция оказались на удивление хорошими рынками. В нижней части карты, в правом углу притаилась Австралия,

девственная земля, где о чешской колбасе никто и слыхом не слыхал, земля таинственная и далекая от терзавших Иржи кошмаров. Посреди нее на многие-многие мили вроде не было видно даже названий городов. Вот место как раз для него. Все ночи просиживал он в кабинете директора-распорядителя, не сводя взгляда с огромного острова на карте, рисуя в воображении центральные его пространства — пустынные, необжитые, первозданные. А там, где нет людей, не может быть и бесчеловечности.

И вот однажды он инстинктивно понял: момент великого переселения настал. А уж ему, после всех перенесенных мытарств, не доверять своей интуиции было бы противоестественно. Он отправился в Австрию. В венском Международном эмиграционном центре его ожидало открытие: срочно требуются рабочие на стройки гидроэлектрических станций в горах австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Две недели спустя Иржи был на борту итальянского парохода «Сальватор Роза», идущего к Суэцу и далее — к земле обетованной. Море было спокойным и ласковым. Иржи являл довольно нелепое зрелище, стоя на палубе в своей толстой рубахе без воротника и глазея на золотистую воду, словно это было жидкое пламя, источник фантастических феерий. Но он вовсе не грезил, да и о чем было грезить ему?

Реальность всегда была чересчур жестока к нему, чтобы он смог от нее отвлечься. Солнце никогда не было таким жарким, оно наводило на Иржи легкую дрему, сладостное ощущение благополучия, которое всем своим видом выражают собаки, отыскав особенно уютную выемку в земле и улегшись наконец, не в силах поднять век и ожидая, когда же их сморит сон. Иржи был счастлив как никогда. Жаль только, он не мог закатать рукава рубашки из-за выжженного на руке номера — памятки о высокой административной квалификации нацистов.

Одиночество и толкнуло их с Идой друг к другу. Ида

была блондинкой в том уже возрасте, когда за женщиной прочно утверждается репутация старой девы. Она подавала крепчайший чай в не очень чистых чашках в «Кафе Анзак» * — деревянном сарае, — достаточно веселом и бесшабашном, чтоб стало заметней царившее вокруг запустение.

Цвет волос Иды вовсе не был таким от рождения, и кожу ее покрывал слой пудры, намекавший, сколь решительно противоборствовала Ида черствости природы и бессердечию времени. Мощный орлиный нос и до смешного низко посаженные водянистые голубые глаза придавали ей сходство с некоей захудалой немецкой принцессой, связанной побочными узами с королевскими фамилиями начала девятнадцатого века. Но с другой стороны, если отвлечься от ее обличья и неблагозвучного, скрипучего голоса, Ида обладала пышным, богатым телом, на что Иржи обращал внимание всякий раз, как объемистая грудь склонялась, волнуясь, над его столом. Он все с большим и большим трудом сосредоточивался на скудном меню.

Ида не оставалась безразличной к его знакам внимания. Она то и дело бросала доведенные до совершенства мимолетно-равнодушные взгляды в сторону этого жалкого маленького человечка с глазами цвета иссохшего камня, который был так робок, что даже не смел повысить голос, заказывая свой чай. Но у него была приятная улыбка, и походка его тоже нравилась Иде — он входил в кафе легким, беспечным шагом человека, за хрупкостью которого угадывалась неожиданная сила. А шея у него была как у недокормленного юнца — тонкая и беззащитная.

Со временем взаимные их улыбки, раздумья над выбором блюд, неуклюжие шутки над его ломаным английским вошли в привычку, и довольно скоро они покинули кафе вместе. Иржи знал по опыту, когда закрывается кафе, и стал намеренно являться ужинать все позже и позже. И вот однажды они оказались на тротуаре бок о бок. Уже

* Анзак — аббревиатура, составленная из начальных букв слов Австралийский и новозеландский армейский корпус; так называли солдат этого формирования, существовавшего в годы первой и второй мировых войн.

стемнело, и Ида взяла Иржи под руку. Пройдя несколько шагов, они поцеловались, и в их поцелуе было больше изумления, чем страсти. Ведь оба давным-давно оставили всякую надежду.

Она лежала рядом с ним в своей узкой кровати, вся живая, теплая, страстная. Закрывая глаза, он знал, что обладает самой прекрасной женщиной в мире, а он — самый желанный в мире мужчина.

Иллюзия совершенства имеет много ступеней и, будучи иллюзией, покорна рассудку.

Романтики хватило ненадолго. Оба были не в том возрасте, чтобы уж очень растягивать рацион расхожей поэзии, выжатой из наличия луны в ночи, чересчур холодной для поцелуев. Им было слишком поздно распалять друг друга двусмысленными словечками из модных песенок, этих полуфабрикатов пикантных яств практического обольщения, круглосуточно исторгаемых радио — нашим всенародным Казановой *. Их тешили иные мимолетные радости: ласковый огонь очага, шуршанье газеты, звяканье чашки о блюдце, пение чайника, возникавшее при этом чувство, будто они знакомы давным-давно, чуть ли не с юных лет, — ощущение уверенности и покоя. Однако, будучи женщиной, и вдобавок женщиной крупной, Ида вскоре начала проявлять те неистовые и порой зловещие качества, которые так эффективно пускали в ход ее сестры Мессалина, Далила и леди Макбет в более бурные исторические эпохи. Хотя еще совсем недавно они оба, она и Иржи, были вынуждены довольствоваться лишь простым выживанием, она гораздо быстрее, чем посмел это сделать Иржи, стала воспринимать новообретенное счастье как нечто само собой разумеющееся и принялась объяснять ему, что работа на строительстве гидроэлектростанции ниже его достоинства.

— Но деньги хорошие, — пытался возражать Иржи, —

* Казанова Джованни Джакомо (1725—1798) — итальянский писатель, изобразивший в своих «Мемуарах» легкомысленные нравы эпохи и собственные авантюрные похождения; стал нарицательным образом обольстителя и распутника.

шестьдесят австралийских фунтов за неделю!

— Ты не какой-нибудь работяга, — следовал ответ Иды, в голосе ее постоянно звучала страсть, бессмысленная и пугающая. — У тебя есть класс. Посмотри, какие чуткие у тебя руки. И ты хочешь по гроб жизни корячиться в этом тоннеле сейчас, когда у тебя есть я? Да только в прошлую пятницу там в куски разнесло еще одного итальяшку. Милый такой был паренек и пел чудесно. Ничего странного, что хорошие деньги, — работа-то опасная. Нет, Джорджи, тебе теперь есть за что в жизни отвечать, пора быть самому себе хозяином.

К чему она клонит? Иржи взглянул на свои руки и никакой особенной чуткости в них не узрел: десять лопатообразных пальцев с заскорузлыми ногтями. Не забыть бы их почистить. За неимением других аргументов, он повторял только одно: «Деньги хорошие».

— Послушай, — мягко отвечала Ида, меняя свои женские уловки с грацией паровоза, — ты ведь знаешь Альдо Зенони. Он тоже начинал в тоннеле, как и все новые австралийцы. А потом стал латать ребятам продранные робы. Они к нему валом валили. Он, понимаешь, работал здорово. И вот взял и женился на одной ирландке из местных. Она помогла Зенони поверить в себя, этого-то ему и не хватало. Вот зачем нужны жены. Он ушел из тоннеля и открыл мастерскую. Теперь у него магазин мужского и женского платья «Венеция» здесь, в Билливанге, и филиал в Канберре, продающий свитера посольствам.

— Да, но это только один случай, — отвечал несчастный Иржи.

— Один случай? Ты что, ни разу не видел на улице трехосные грузовики с именем владельца на кабине? Поляк какой-то, фамилию и не выговоришь. Крупнейший транспортный подрядчик во всей округе. А начинал с чего? С тоннеля. Но глядел в оба. Заметил, транспорта не хватает. Раздобыл один довоенный грузовик, а сейчас у него их тридцать, все новехонькие. Или возьми немцев. Держатся друг за дружку, как евреи. Фабрика «Старый Гейдель-

бергский ликер», «Деликатесы Отто», «К. К. Химчистка», новый гараж на углу Сноуи-ривер-стрит и Имперской дороги, где обслуживают «фольксвагены», — везде хозяева немцы, и все начинали в тоннеле. Там, в горах, остаются вкалывать самые безголовые. Да, зарабатывают они хорошо, а дальше что? Спускаются по выходным сюда, в город, у каждого в кармане полсотни, а то и все семьдесят фунтов, шастают всюду — только бы женщину подцепить. А женщин мало. В Билливанге на одну женщину десять мужчин. Тебе-то повезло, у тебя есть я. Ну а эти напьются, передерутся и в понедельник тащатся назад в тоннель без гроша за душой. Говорю тебе, Джорджи, этим лоботрясам из тоннеля деньги девать некуда. Вот те, кто пооборотистей, и открывают в городе заведения. Как тут не разжиться, когда все вокруг набиты деньгами, а тратить их негде.

Однажды Ида добавила к своему обычному каталогу искушений любопытную деталь.

— Надо бы, — сказала она, — свести тебя с немцами, они самые лучшие работники.

Иржи уже однажды сводили с немцами, и он не имел ни малейшего намерения повторять этот опыт, но что бы он ни говорил, Ида его не слушала. У нее была подруга, чуть помоложе, но такая же невзрачная и так же отважно пустившаяся в дальние края, влекомая неосознанным стремлением отыскать менее взыскательных мужчин.

Особа эта, ее звали Флосс, вышла замуж за одного из членов немецкой колонии Билливанги, герра Вилли Шумахера, ныне мистера Билла Шумейкера, предприимчивого иммигранта, основавшего радиоремонтную мастерскую, к которой он добавил затем магазин спортивных товаров и даже небольшое предприятие по производству газированных напитков.

Честолюбивой Иде понадобилось немного времени, чтобы не только заморочить голову Флосс, но и успешно преодолеть препоны, за которыми укрывался осторожный Билл Шумейкер. Ида намеревалась открыть ресторан, которым бы управляли они с Иржи на паях с Шумейкерами.

— Мне не хочется влезать в дело, которого я не з н а ю , — сказал Билл со своим своеобразным акцентом — наполовину австралийским, наполовину северонемецким.

— Разве вы разбирались в ремонте радиоаппаратуры, когда открыли мастерскую? — как всегда напористо возразила Ида.

— Да. Я умел чинить приемники.

— Вы разбирались в охотничьих ружьях, всяких спортивных играх и надувных лодках?

— В ружьях — да.

— Но разве вы что-нибудь понимали в шипучем лимонаде и во всех этих жульнических напитках, которые выпускаете? Что до меня, то я разбираюсь в ресторанном деле, а Джорджи работал на колбасной фабрике у себя в Чехословакии. В нашей Билливанге есть сирийская кофейня, какая-то югославская харчевня, итальянская обжорка — и ни одного немецкого заведения, хоть ваша колония и самая большая среди новых австралийцев. Позор, вот что это такое!

— Какая женщина! — воскликнул Билл и причмокнул, а Флосс глянула на подругу с нескрываемой ревностью.

Билл был шафером на бракосочетании Иржи и Иды, последовавшая затем вечеринка состоялась в свежеокрашенной раковине ресторана «Золото Рейна». Это был день радости, хотя Иржи смущало, что всякий раз, глядя на Билла, он испытывал ощущение, будто где-то встречал его раньше. Неприятных ассоциаций у него это ощущение не вызывало, напротив, у Шумейкера было довольно симпатичное лицо с длинным вздернутым носом и весело поблескивающими голубыми глазами, волосы, склонные кучерявиться, и большой рот, вечно готовый расплыться в улыбке. У него всегда была наготове пословица на любой случай, и выбор, который он делал из своего обширного компендиума банальностей, оказывался так удачен, а быстрота, с которой он надергивал свой простонародный комментарий, столь ошеломляюща, что это придавало его личности ореол иронии, выделявший его из рядов страждущего человечества.

Казалось, он наблюдал и оценивал необычные жизненные ситуации с положительной точки зрения, и это вызывало к нему доверие. Иржи восхищался этим человеком.

— Пью за наших новых партнеров Джорджи и Иду или, наверно, я должен сказать Иду и Джорджа Полленов? — сказал Билл, поднимая бокал с австралийским шампанским, и, утихомирив жестом восторженные аплодисменты присутствующих, продолжал: — Я приветствую тот факт, что в Билливанге, ставшей домом для столь многих из нас, появился наконец настоящий немецко-чешский центрально-европейский ресторан, где вы сможете собираться по вечерам и с наслаждением поесть Bratwurst, Königsberger Klopse, Kasseler Kippenspehr * и все прочие блюда, полюбившиеся и запомнившиеся нам по нашим родным городам. Мы обеспечим вам качество и доступные цены, сервис и улыбки. Знаю, я могу рассчитывать на вас как на постоянных клиентов. А теперь прошу мистера Виктора Людлова поднять тост за новобрачных.

Мистер Виктор Людлов, прибывший в Сидней Витольдом Любомирским, произнес красноречивый спич о Джордже Поллене, изобразив его как символ новой Австралии, подобно фениксу восставший из пепелища отчаявшейся Европы; все это щедро запечатлевал на пленку мистер Берни Питерс, урожденный Братислав Петрасевич. Иде показалась весьма романтичной роль иммигрантки, и под вечер она попыталась в подпитии исполнить сербский народный танец под аккомпанемент аккордеона, флейты и двух суповых ложек, заменивших кастаньеты. Когда банкет подошел к концу, в глазах у многих стояли слезы. Он вызвал отчасти чувство единения, отчасти — тоску по привычной тесноте Европы здесь, в стране бескрайних просторов.

Дела шли хорошо. Да иначе вряд ли и могло быть. Единственную проблему представляли пьяницы по выходным и законы о лицензиях. Билл получил лицензию на торговлю

* Bratwurst — жареные колбаски, Königsberger Klopse — биточки по-кёнигсбергски, Kasseler Kippenspehr — жаркое по-кассельски.

вином и пивом, но продажа крепких алкогольных напитков в «Золоте Рейна» не разрешалась. И все равно по субботам и воскресеньям в ресторан настойчиво ломились одинокие люди, требуя выпивки на всевозможных языках, и не всегда легко было отказать им. Строгое соблюдение закона могло повредить бизнесу. Никому, кроме полиции, не люб хозяин, испортивший настроение клиенту. «Золото Рейна» в скором времени смогло позволить себе обзавестись музыкальным трио, которое исторгало созвучия под звяканье ножей и вилок, как оркестры в ресторанах всего мира, не давая перемолвиться словом тем, кому есть о чем побеседовать, и избавляя от необходимости разговаривать тех, кому нечего друг другу сказать.

Поскольку понедельник обычно был день не очень-то бойкий, Билл с Джорджем отправлялись на охоту, подобно джентльменам Старого Света. Во время одной из охотничьих экспедиций Джордж и сказал Биллу о своем ощущении, будто они уже встречались где-то раньше.

— Забавно, — ответил Билл. — У меня самого точно такое же чувство. Вы долго пробыли в Сиднее?

— Один день.

— Ну тогда, конечно, не там.

— Может, в Европе? — подумал вслух Джордж.

— Сомневаюсь. Я там мало где бывал. Сразу, как кончилась война, сложил вещи — и сюда.

— А во время войны?..

— Нет. Это исключено. Кстати, где вы были в те годы?

— Я? Ох, — вздохнул Джордж. — Вам и вправду хочется знать?

— Не спрашивай, и тебе не солгут — вот мой девиз.

— Мне скрывать нечего, — сказал Джордж. — Я был в Освенциме, Равенсбрюке, Бельзене, Дахау, Маутхаузене и еще кое-каких местах.

— Но вы ведь не еврей? — спросил Билл и вскинул ружье.

— Нет, а что?

— Многие из них, бедняги, кончили свои дни в лагерях. Во всяком случае, я так слышал.

— О, не одни лишь евреи.

— Да? Что ж, я знаю все только с чужих слов. Лучше б тех лет не было вовсе. Все вели себя по-свински. Что мы, что союзники... Я и не думаю никогда об этом.

— А вы где были тогда?

Билл опустил ружье.

— Я? А где бы вы думали? В армии. Санитаром. Послали меня в Грецию. Потом — в Северную Африку. Мухи досаждали там куда больше противника. А потом я вообще от всего от этого отделался.

— Как?

— Язва.

— У вас была язва?

— Да н е т , — улыбнулся Билл.

Джордж бросил на друга полный восхищения взгляд: уже тогда он проявлял задатки великого бизнесмена.

— Если уж столько времени помогаешь врачам, чему-нибудь да н а у ч и ш ь с я , — мягко пояснил Билл.

День, когда Ида объявила о своей беременности, пришелся на пятницу. Новость казалась невероятной, однако доктор Чолкбернер, в прошлом Калькбруннер, категорически подтвердил ее. Снова пили шампанское, и Джордж сделал первый взнос за небольшой современный коттедж. Он купил также американскую машину — старую, но очень большую. Услыхав новость, его друг Билл преподнес ему великолепное охотничье ружье. Джордж, принимая подарок, лишился дара речи. И ради всего доброго, что было ему когда-нибудь ведомо, напрягал ум, пытаясь вспомнить, где же встречал он своего друга.

А «Золото Рейна» расширялось. Там было уже почти тридцать столиков. Когда у Иды приблизился срок родов, наняли дополнительную прислугу. Уровень сервиса чуть понизился, но клиенты этого не замечали. Ресторан имел прочную репутацию самого изысканного места для встреч в Билливанге.

И вот однажды утром, когда Джордж уже сидел на работе,

проводя переучет, зазвонил телефон. Это был доктор Чолкбернер: Иду, сообщил он, срочно отвезли в местную больницу и нет никаких поводов для беспокойства. Джордж немедленно позвонил Биллу. Билл предложил ему закрыть ресторан и встретиться в больнице.

— Мы не можем позволить себе только из-за этого закрывать ресторан, — сказал Джордж, когда Билл вошел в приемный покой. — Сегодня суббота, лучший день недели.

— Слушай, ты не каждый день становишься отцом, — ответил Билл. — Помню, когда у нас родился Джон, я был на грани разорения. У меня ничего тогда не было, кроме радиомастерской, и дело мы поначалу поставили плохо. Но я все равно закрыл в тот день мастерскую. И только собрался в больницу, пришла клиентка. Но я завернул ее с ходу.

— Все равно — суббота.

Билл добродушно рассмеялся:

— Если ребенок родится прямо сейчас, мы успеем открыть ресторан вечером. Не беспокойся об этом. Вот, я принес бутылку шнапса. Настоящий немецкий шнапс. Как раз то, что нам нужно.

Они пили шнапс, и Джорджа охватили противоречивые чувства: и радость, и глубокая необъяснимая грусть. Он боялся за жену. Все здесь, в приемном покое, было таким деловым, таким обыденным. И день выдался серый. Совсем неподходящий фон для столь великого и волнующего события.

— Как ты назовешь ребенка? — спросил Билл.

Джордж был благодарен за проявленный им такт. Билл, казалось, хорошо понимал, какая боль охватила его сердце. Слова друга были для Джорджа камнями, по которым он переходил через пучину.

— Если девочка — Идой. Если мальчик — Малькольмом.

— Почему Малькольмом? — искренне удивился Билл.

— Не знаю. Хорошее имя. Совсем не похоже на обычные имена. Когда я думаю о своей жизни, не пойму, как я пришел ко всему этому: вот-вот отец, женат, имею машину,

и дом, и дело. А лагеря, это же был конец света...

— Верно, верно, — довольно резко перебил его Билл, — но не думай о них сейчас. В этой нашей Австралии ни у кого нет прошлого, есть только будущее. Я и видеть больше не хочу Европу. Да, я знаю, там лучше еда, выше квалификация у всех. Там больше развлечений и нет законов о лицензиях, но я хочу, чтобы в будущем у детишек моих было не то, что видел я сам. Когда они доживут до моих лет, жизнь здесь будет стоящая, и одному богу известно, на что станет похожа Европа.

— Я спрашиваю себя, почему мы всегда говорим на английском. Мы оба лучше разговариваем на немецком, — сказал Джордж.

Билл отказался возвращаться домой обедать. И к середине дня, по мере того как шнапс в бутылке убывал, отношения между ними стали теплее, чем когда бы то ни было.

— Даже не знаю, как я смогу тебя отблагодарить, Билл.

— Не надо мне никакой благодарности. Ты — хороший работник, хороший работник — хороший партнер, а с ними обоими имеешь хороший бизнес. У нас хорошие жены. Они некрасивые, но от красивых жен одни неприятности. Жена должна быть хорошей стряпухой, хорошей хозяйкой, хорошей матерью и быть хороша в постели. Вот и все, чего я прошу.

— Все хорошо.

— Все хорошо, — как эхо откликнулся Билл.

В это самое мгновение вошла сестра и объявила с заученными интонациями стюардессы, что родился мальчик. На свете, а точнее — в Австралии появился Малькольм Поллен.

Джордж и слышать не желал о том, чтобы закрыть на вечер ресторан; его открыли к ужину, и вскоре зал был полон. Ближе к ночи, как всегда, стали забредать пьяные, требуя выпивки. Особенно буйно вели себя двое. Один был чех, другой — немец. Они стучали кулаками по столу и грозились запеть. Потом потребовали, чтобы оркестр сыграл «Лили Марлен».

Джордж пытался урезонить одного из них по-чешски. Без толку. Чех разрыдался, твердя, как далеко занесло его от дома. Чего же он хочет? Сливовицы — вспомнить родной дом. К столу подошел Билл. Упившийся немец начал поносить Австралию и требовать выпивки. Любой, какая есть.

— Лучше подать им сливовицы в кофейных чашках, может, угомонятся, — тихо сказал Билл.

— Дашь им, а они начнут все крушить, мы и полицию звать не сможем. Нет у нас лицензии, — возразил Джордж.

— Скажем, они уже пришли сюда пьяные.

— Ладно, как хочешь.

Минуту спустя Билл мельком взглянул из-за кассы на пьяных. Они больше не пили и украдкой писали что-то на клочках бумаги. Он перевел взгляд на дверь буфетной и увидел вышедшего оттуда официанта с двумя кофейными чашками на подносе. Билл бросился между столиками ему наперерез и секундой раньше, чем тот успел обслужить пьяных, выбил поднос у него из рук, закричав:

— Идиот неуклюжий, не соображаешь, куда прешь?

Джордж, услыхав шум, вышел в зал и увидел, как Билл извиняется перед пьяными.

— Поднимите-ка с полу эту чашку, — сказал один пьяный другому, мгновенно протрезвев.

Билл раздавил чашки ногой.

Джордж сразу понял: никакие это не пьяные, а сыщики из двадцать первого отдела, своеобразного летучего подразделения провокаторов, используемого правительством Нового Южного Уэльса, чтобы ловить с поличным рестораторов, нарушающих закон о лицензиях. Притворное опьянение было одним из их наиболее успешных стратегических приемов, причем полиция не гнушалась использовать агентов различных национальностей, играя на патриотических чувствах, тоске по родине и, самое худшее, добросердечии хозяев-иммигрантов.

Джордж хорошо представлял себе, что за типы эти немцы или чехи, покинувшие родину лишь для того, чтобы стать

где-нибудь полицейскими. Самому ему казалась бессмысленной такая цель добровольного их изгнания, но он знал: есть на свете люди, чувствующие себя потерянными без мундира или хотя бы смирительной рубашки дисциплины и власти вышестоящих.

Бесцеремонно объяснив, кто он такой, сыщик-немец по-немецки потребовал предъявить ему для осмотра разбитую кофейную чашку. Билл побелел от гнева и начал выкрикивать оскорбления тоже по-немецки. На виске его вздулась и затрепетала огромная вена, похожая на древесный ствол. В какой-то момент показалось, будто приступ охватившей его ярости выльется в эпилептический припадок. Оба сыщика в ответ заорали на него. Кое-кто из ужинавших встал из-за стола, чтобы подкинуть спорящим свои веские доводы.

Джордж никогда раньше не слышал, как Билл говорит, а тем более кричит по-немецки. Санитар? Перед глазами Джорджа возникла комната, битком набитая обнаженными людьми, мужчинами и женщинами, одни отощавшие — кожа да кости, другие опухшие от голода. В воздухе запахло тленом. Голос Билла перенес его назад в этот полумрак, где виднелись белые халаты врачей и пергаментная желтизна обнаженной плоти, поблескивавшие стекла очков, заставил пройти снова всю рутинную процедуру кошмара. Дородный доктор Тихт, бесстрастно наполняющий шприц, протирающий место укола ватным тампоном, протягивающий короткие пухлые руки за инструментами. «Кашляйте, — говорит он. — Кашляйте... Дышите... Глубже... Уберите его. К использованию непригоден»... Тихий деловой голос. А за спиной доктора еще один человек в коричневом мундире и коричневой фуражке истерично вопит, и на виске его пульсирует огромная вена, похожая на древесный ствол: «Still stehen! Schweine! Schweine! Idische Rassenschänder!» *

Крик становится все громче. Шатаясь, Джордж добрел до кухни, там его вырвало прямо на пол. Теперь он вспом-

* Стоять смирно! Свиньи! Свиньи! Еврейская сволочь! (*нем.*).

нил своего друга. Когда он вернулся к себе, дом был пуст. Ида спала в больнице, сморенная болью и радостью. Он включил свет. Стало слишком светло. Он щелкнул выключателем. Теперь слишком темно. Он открыл окно. Слишком холодно. Джордж открыл другое окно и уставился в ночную тьму. Его бросило в жар. Он должен убить своего партнера, убить ради памяти тех... бессмысленно погибших. Сначала он должен пытать его. Джордж мысленно проиграл сцену пыток раз сто, совершенствуя и оттачивая их. Он представлял себе, как Билл вопит, извивается, молит на все лады о пощаде. Но пощады не будет. Джордж пристрелит его из подаренного им же ружья. Какая ирония!

Но зачем все эти подарки? Почему этот зверь был так добр к нему? Возможно ли, чтобы в нем проснулась хоть капля совести? Неужели Билл узнал его еще при первой их встрече в Австралии? Одного из тех миллионов, что прошли через руки Билла в Маутхаузене? Едва ли. Но даже если он, Джордж, был для него всего лишь символом раскаяния, то, возможно, грань между добром и злом еще не стерлась в этом несчастном сердце, и благодаря Джорджу Поллену Билл снова обрел способность смотреть людям в глаза? Чепуха! Билл давно уже уютно по-деловому обосновался в Билливанге без всякого подобного подспорья.

«В этой нашей Австралии ни у кого нет прошлого, есть только будущее». Какая удобная позиция! И сделали ее удобной сами австралийцы. Джордж вспомнил слухи, ходившие в Вене. Австралийцы были готовы впустить в страну кого угодно. Кто знает, какие ядовитые семена разнесло по этой пустыне?

Мысль об убийстве успокоила Джорджа, и он попытался уснуть на диване. Он задремал и проснулся от собственных криков. Джордж посмотрел на часы. Он спал всего десять минут.

Где-то вдали пропел петух, залаяла собака. Джордж вышел в темноту и зашагал прочь. Он понятия не имел, куда завела его проселочная дорога, когда забрезжил рассвет, но внезапно, после мимолетной серо-голубой печали, над

черными деревьями победно вспыхнуло огромное солнце, и птичий базар загомонил среди ветвей. Казалось, земля перевернулась на другой бок в своем легком сне, и ночь мгновенно и безболезненно умерла.

На солнце почти сразу же стало жарко, хотя в тени еще было холодно. Джордж смотрел во все глаза на эту необычную землю, на причудливые валуны, разбросанные вокруг со времен какой-то доисторической судороги планеты.

Погибающие камедные деревья стояли среди мертвых стволов, как среди белых незахороненных трупов, оставшихся на поле брани. Снова Маутхаузен. Горы трупов. Джорджу хотелось ударить себя. Прорвалась жалость к самому себе, привычка чрезмерно все драматизировать. Деревья погибли не от злого умысла, а просто от небрежения, что было еще хуже. Им позволили умереть, разрешение умирать было пожаловано им всем. А те, что еще жили, пребывали в ожидании...

Джордж содрогнулся. Жизнь сама по себе была ценностью, и все в ней имело значение. Рядом с его ступней муравьиная цивилизация создавала свою империю, и каждая часть ее была столь же значительна, как Австралия или Чехословакия, — мир малых величин, но тем не менее целый мир. Трудясь над чем-то, муравьи облепили большой камень. Строят свою гидростанцию... Он улыбнулся едва заметно этой своей мысли, потом нахмурился, поняв, что один его шаг может уничтожить целые полчища муравьев. И он в состоянии сделать это с такой легкостью, без малейших угрызений совести, потому что не имел возможности общаться с ними. Человек не может испытывать симпатии к муравью. Как несовершенна жизнь!

«Still stehen! Schweine!»

В первый и, без сомнения, единственный раз в жизни он стал отцом — отцом, когда ему давно перевалило за сорок. Это день особой значимости, день радости. А он здесь обдумывает планы мести. О, что же делать? Он обхватил голову руками и вдруг зевнул. Он очень устал. Когда человек подавлен, растерян, природа непочтительно и насмешливо

решает все за него. Сунув руки в карманы, Джордж побрел обратно в город.

Если он расторгнет партнерство, придется отказаться и от дома. Но теперь он, пожалуй, слишком стар для тоннеля. Все придется начинать сызнова, с нуля. Будет ли это справедливо по отношению к Иде или Малькольму? Тут ему в голову пришла новая мысль. А что, если он ошибся насчет Билла? Ведь прошло столько лет. И за свою жизнь он слышал столько крика. Голоса путались, походили один на другой. Так всегда бывает. Голосовые связки не так типичны, как лица, и куда меньше возможностей различить их. Но в глубине души он знал: ошибки здесь нет.

Придется вернуть ружье. Надо же придумать — подарить ему именно ружье! Но как вернуть его, ничего не объяснив? Объяснение будет означать конец партнерству. Он должен либо все напрочь разрушить, либо оставить все как есть. Муравьи.

Десять минут спустя Джордж был у дома. Он взглянул на свой дом: нечто, возникшее из ничего. И увидел в окно подушку на диване, хранившую еще след его головы. Он отворил парадную дверь. В холле стояла сверкающая новенькая коляска. Между колесами все еще висел ярлычок с ценой. Он услыхал шорох у себя за спиной. Ух ты, перед дверью, виляя хвостом, навострив уши, поводя добрыми, лихорадочно горящими глазами, стояло рыжее привидение — один из великого множества бродячих псов Билливанги, вечно гонявшихся за машинами по главной улице. Джордж считал этих псов несносными.

— Погоди-ка, — сказал Джордж и принес ему с кухни изрядную порцию еды.

В одиннадцать он пошел в «Золото Рейна», сопровождаемый рыжим привидением. Вскоре явился Билл, осунувшийся, присмиревший.

— Эта история обойдется нам в тридцать фунтов штрафа, — сообщил он. — Да еще могут предъявить обвинение в словесном оскорблении и угрозе насилием. Ну и пусть, если б

мне снова представился случай, я бы все повторил этим мерзавцам на том же языке.

— Этим Schweine, — ответил Джордж по-немецки.

— Ja, ja, Schweine. Schweinehunde *, — рассеянно ответил Билл.

Джордж продолжал говорить по-немецки.

— Прямо гестапо, — сказал он.

— Genau. Die selbe Mentalität. Daß die Australische Regierung hier so etwas erlaubt! **

— Их везде хватает, — сказал Джордж снова по-немецки, — и в полиции, и вообще. Суть не в мундире, суть в складе ума. Есть созидатели и разрушители. Господа и рабы. Подчиненный может быть господином, а начальник — рабом; точно так же в полицейском может скрываться добрая душа, а человек, о котором ничего такого и не подумаешь, окажется сущим полицаем. Все зависит от склада ума.

— Да, пожалуй, в этом что-то есть, — пробормотал Билл и вдруг быстро поднял на него глаза, в которых мелькнуло затравленное выражение. — Почему мы говорим по-немецки? — спросил он.

— О-о, сам не знаю... Сила привычки, надо полагать.

— Сила привычки?

Нервно моргая, Билл жадно всматривался в лицо Джорджа. И вдруг стал удивительно жалким, до того сильно угадывалось в нем желание нравиться. Каждый жест его был взяткой — и ружье, и шнапс, — очередным взносом в погашение долга.

— Да, — подтвердил Джордж, — сила привычки. Я скоро вернусь. Схожу в банк.

— В банк?

Но он молча покинул Билла, чувствуя на себе взгляд, которым тот провожал его сквозь окно ресторана. После недолгого посещения банка он купил букет цветов и отправился в больницу, все так же сопровождаемый собакой.

* Да. Да. Свиньи. Свинские собаки (*нем.*).

** Точно. Тот же склад ума. И как только австралийское правительство их отсюда не вышибет! (*нем.*).

Швейцарские часы

Подобно многим другим итальянкам, обделенным замужеством, Пия Чиантелла бежала от реальных и воображаемых бед своей родины за границу, надеясь устроить жизнь где-нибудь в ином месте. Человек слишком сентиментальный, чтобы ожесточиться, она работала в Париже приходящей прислугой в доме французского банкира мосье Петисьона, который проявлял безразличие к большей части ее достоинств — ему просто было некогда изучать их, — но ценил ее честность, качество, к которому банкиры чрезвычайно чувствительны, особенно когда речь идет о наличных деньгах на мелкие расходы и несущественных проявлениях доверия.

С приближением рождества семья Петисьонов начала, как обычно, готовиться к переезду в свой шале * в Швейцарии, новое и весьма вульгарное строение, рожденное плодовитым воображением самого мосье Петисьона, который, как и большинство людей, добившихся всего в жизни собственными силами, полагал, что разбирается в архитектуре куда лучше тех, кто специально обучался ей. Шале стоял на сумрачном склоне горы, нависшей над залитой солнцем деревней, и выглядел на средневековый лад надменно и враждебно, оживленный лишь щедрой порцией модернистских украшений из кованого железа на фоне розовой — в духе Средиземья — штукатурки и панелей соснового дерева да участком, усеянным безобразными гномами и карликами из раскрашенного камня, чудовищными стилизованными кроликами и гигантскими белками.

Мадам Петисьон принадлежала мысль взять с собой на

* Шале (*франц.*) — сельский домик в швейцарских горах.

этот раз Пию — как с целью поощрения, так и имея в виду взвалить на нее большую часть тяжелой работы по присмотру за четырьмя буйными отпрысками, которых банкир произвел на свет чуть ли не по недосмотру среди всех своих разнообразных дел. Мосье Петисьон тотчас согласился, и за несколько дней до рождества караван покинул Париж: дети и Пия отправились скорым поездом, мосье и мадам Петисьон в своем «кадиллаке» с шофером.

В первый день, проведенный в горах, дети оказались всецело предоставлены попечению Пии, которой помогала лишь мадам Деморуз, местная дама, круглый год прибиравшая в шале — по два часа ежедневно. Между двумя женщинами возникло нечто вроде прочной дружбы, хотя они и не имели ничего общего; но, так уж водится в мире, прочная дружба возникает безо всяких причин, за исключением одиночества, особенно когда ее скрепляет сознание обоюдного невезения, придающее некую пикантность всему невысказанному вслух.

«Кадиллак» позорно застрял в снежных заносах милях в шестидесяти от деревни; и мосье и мадам Петисьон в первую праздничную ночь пришлось снизойти до номера в отеле на берегу озера Леман *. Попади их громоздкий автомобиль в наводнение, шофер-голландец, возможно, и проявил бы, спасая машину, чудеса героизма, но совершенно растерялся в горах, которых никогда прежде и в глаза не видел. Мосье Петисьону было свойственно удостаивать доверия слуг-иностранцев, поскольку он со смутным беспокойством ощущал критическое к себе отношение своих соотечественников и, дав полную волю этому предубеждению, заявлял, что французы более недостойны его уважения.

В этот первый вечер, который она провела одна в чересчур жарко натопленной кухне, Пия испытала все отчаяние одиночества в большие всеобщие праздники. Они обычно сводят людей вместе, и только совсем уж одиноким некуда податься.

* Леман — французское название Женевского озера.

Пия уложила детей спать. То есть они с дикими криками носились у себя наверху, но формально она уложила их спать. Не ее ведь дети, а родители далеко. В деревне сияла разноцветными огнями рождественская елка. Шел снег. Пия почувствовала комок в горле. Она согласилась ехать в Швейцарию с показной готовностью и даже волнением, но это было всего лишь проявлением инстинктивной преданности любому человеку, сделавшему ей добро. Уехать значило бросить в Париже любовника (она называла его il mio uomo *). Он был ее соотечественник, распутник и мот, бездельник, нанимавшийся в рестораны официантом, но не способный нигде удержаться надолго. Их толком ничего не связывало, кроме денег, которых у нее всегда было немного, а у него никогда не было вовсе, но они разговаривали по-итальянски и в его обществе она обретала уверенность в себе и даже чувство безопасности.

В их взаимной привязанности было нечто от таинственных отношений сутенера и проститутки, и сейчас она задумалась: чем он занимается, пока ее нет в Париже. Напьется, наверно, до остолбенения и на радостях найдет себе другую подопечную.

Все больше злясь на гнетущие ее мысли, Пия включила свой маленький транзисторный приемник и поймала итальянскую станцию, которая транслировала «Cavalleria rusticana» ** полностью, прямо из «Ла Скала». Но музыка не рассеяла ее тоски. Во время волнующей сцены, когда Туриду *** прощается со своей матерью, Пия не выдержала и заплакала, потом стала молиться сквозь слезы. Молитва немного утешила ее, и драматические коллизии веризма **** стали казаться ей совсем уж неправдоподобными.

* Мой парень (*итал.*).

** «Сельская честь», опера итальянского композитора Пьетро Масканьи (1863—1945).

*** Туриду — герой оперы «Сельская честь».

**** Веризм — реалистическое направление в итальянском искусстве конца XIX века, для которого были характерны острые драматические сюжеты и подчеркнуто эмоциональный стиль.

Она задумалась о своей сестре Маргарите, которая была таким хорошим другом, пока не вышла замуж, после чего начала относиться с подчеркнутым пренебрежением к незамужней Пии и возмущаться даже формальными контактами своих сыновей с «теткой-домработницей». Хорошие были ребята ее сыновья, Джорджо и Манлио, хотя в свои двадцать восемь и двадцать шесть лет все еще не удосужились выбрать себе профессию. Из них двоих Манлио легче простить такое лентяйство, очень уж он хорош собой, тогда как Джорджо сущий урод; но факт оставался фактом: оба были не прочь поваляться на солнышке, маленькие золотые медальоны наполовину утопали в густой растительности у них на груди; валялись и ждали — а ну как что-нибудь подвернется. И в этом своем ожиданье они мечтали то эмигрировать в Австралию, то открыть закусочные в Риме или выиграть на своих велосипедах Giro d'Italia *; но ни у одного из них не хватало энергии проехать хотя бы квартал, чтобы не прилечь после этого снова, грезя о чем-нибудь другом — и чаще всего о невзгодах крайнего Юга Италии с его древними драмами ревности и вековыми обычаями, тошнотворно-голубыми морем и небом и раболепным поклонением солнцу. «Бедная Италия, — вздыхали они, — бедные мы». И однако, как всегда бывает у таких лоботрясов, оба, казалось, никогда не испытывали нужды в карманных деньгах, хотя никто не мог понять, откуда они берутся и какова их сумма.

Тут, под влиянием музыкальных излишеств Масканьи, Пией начала овладевать бурная и безрассудная любовь к этим двум юношам — как-никак они кровь от крови ее, пусть, так сказать, через посредника; но могли бы, безусловно, быть и ее детьми, если б капризный бог постановил иначе. И в то же время на нее нахлынула ненависть к снегу, этому скользкому покрову, одевающему землю на возвышенностях и таящему злобу под видимостью чистоты и невинности. Она тосковала по жаркой, растрескавшейся земле,

* «Вокруг Италии», одно из крупнейших европейских соревнований по велоспорту.

обжигающей босые ноги, по пряному духу разогретых солнцем сосен и резкому запаху вяленой рыбы и сушеных трав в лавках.

Дослушав оперу до конца, Пия удалилась в постель; но и сновиденья ее были волнительные и гневные. Следующим утром, после прихода мадам Деморуз, Пия воспользовалась возможностью выскользнуть в деревню. На другом конце деревни находилась лавка, где торговали практически всем — от вешалок в форме оленьих рогов до лыжных ботинок и от швейцарских часов поплоше до деревянных сувениров. В этой лавке Пия и купила рождественский подарок Манлио, выложив сто восемьдесят франков и всю свою любовь в придачу. Подарок для Джорджо она не купила по целому ряду причин. Прежде всего, он был уродлив, и на худой конец Пия даже в мечтах своих охотно уступала его сестре. Во-вторых, если она уважит и Джорджо, не хватит денег на действительно достойный подарок для Манлио. И наконец, Джорджо — старший из них двоих и может сам о себе позаботиться.

С помощью хозяина лавки мосье Кнусперли она выбрала восьмиугольные наручные часы, которые не только показывали число, но были еще и оснащены будильником. Хозяин упаковал часы в красивый футлярчик, украшенный изображениями рождественского остролиста, и Пия почтой отправила подарок племяннику.

Несколько часов спустя приехали Петисьоны, и жизнь пошла своим чередом: мосье Петисьон, вооружившись посохом и надев зеленую альпийскую шляпу, утыканную кисточками для бритья и значками-талисманами, отправлялся в дальние прогулки на несколько сот ярдов; мадам Петисьон, которая была моложе мужа, каталась на лыжах в неизменном обществе знаменитого альпийского проводника; чада закладывали опустошительные виражи на «детских» склонах, у подножия которых маячила сиротливая фигура нелепо по-городскому одетой Пии, надзиравшей за санями с охапками одежек.

Дни шли быстро, и скоро настала пора возвращаться в

школу. Пию попросили отвезти детей в Париж, где их ждала мисс Фрейзер, няня-шотландка, вернувшаяся из дому после рождественского отпуска. Петисьоны решили немного задержаться: она — потому что великий проводник обещал показать кое-какие новые трюки на дальних уединенных склонах; он — потому что обнаружил в соседнем шале не катавшегося на лыжах компаньона противоположного пола. «Кадиллак» покорно ожидал волеизъявления хозяев в долине, поэтому Пии пришлось везти вопящую орду детей обратно пред строгие очи и под суровую длань мисс Фрейзер ночным поездом.

Она прибыла в Париж в состоянии физического и умственного изнеможения и обнаружила там ожидающую ее посылку. Это были часы, присланные обратно Манлио вместе с запиской, где он в сбивчивых выражениях извинялся и просил, если можно, обменять часы на другую модель, без будильника, потому что однажды звонок разбудил его в тот момент, когда он меньше всего ожидал побудки, и Манлио опасался, как бы это не сказалось на его сердце.

Записка была не длиннее, чем следовало ожидать от человека со столь ограниченным запасом жизненных сил, как у Манлио; поблагодарить тетю за подарок он забыл. Но Пия на него не рассердилась, ведь мужчины никогда не помнят о такой вещи, как благодарность; она лишь мучительно напрягла свою мысль над тем, какие же есть у нее теперь возможности обменять часы.

В конце концов она вложила их в конверт и послала мадам Деморуз, единственному существу, с которым у нее в деревне установился контакт. В веселом и бодром тоне обращалась она к мадам Деморуз с просьбой отнести часы в лавку мосье Кнусперли и обменять их на другие — без будильника. Она сообщила также, что готова своевременно возместить разницу в цене, но отмечала, что, по ее мнению, часы без будильника должны, естественно, стоить дешевле, чем часы с будильником. На конверте Пия надписала, как ее учили когда-то дома в Италии: «Подарок. Ценности не имеет».

Получив часы, мадам Деморуз отдала их мужу, возложив на него всю деловую часть. Муж ее официально считался фермером, но поскольку неизменно делал все возможное, дабы не стать владельцем фермы, имел куда больше свободного времени, чем его жена, которая, словно сущая невольница, прибирала за день четыре или пять шале, чтобы содержать свое семейство.

Мосье Деморуз, глянув на часы завистливыми черными глазищами, встряхнул их. Затем перевел стрелку будильника, с явным удовольствием выслушав его трель. После того как он предавался этому занятию более получаса, мадам Деморуз позволила себе предостеречь его, что он рискует сломать часы.

— Заткнись, — отвечал мосье Деморуз и опрокинул очередной стаканчик «Lie» — крепкого беловатого напитка, перегоняемого из виноградного отстоя. Дух его воспламенился, он натянул свои тяжелые фермерские башмаки и направился вниз, в деревню — увидеться с мосье Кнусперли. Особой любви друг к другу они не питали. И не столько в силу личных причин, скорее по традиции. Веками семьи Кнусперли и Деморуз населяли эту альпийскую долину, непостижимый и своеобразный мирок, окруженный немецким, французским и итальянским мирами, по которому бродили тени затерявшихся римских легионов. Обе семьи давно уже связаны были взаимными браками и плутнями, но, как это ни абсурдно, и та и другая горделиво отстаивали свое первородство, как и горстка прочих местных фамилий. В телефонном справочнике превалировали шесть имен. Все остальные считались новопришельцами или чужаками.

Итак, мосье Кнусперли из-за своего прилавка взирал с откровенным неудовольствием на то, как Деморуз — все равно который из них — входил в его лавку.

— Чего желаете? — спросил он. Или точнее: — Чего ты хочешь? — дабы подчеркнуть свою досаду.

— Я по поводу этих часов, — отвечал мосье Деморуз.

— Каких еще часов?

— Вот этих, — сказал мосье Деморуз, разворачивая па-

кет. — Они куплены здесь итальянской служанкой, что работает у банкира там, наверху.

— Да?

— Это не то, что ей нужно.

— Вам почем знать?

— Она написала моей жене. Ей нужны часы без будильника. Я думаю, она просто дура, сами судите. Часы прекрасные. Я и сам бы от таких не отказался.

— Вам такие часы никак не по карману.

Самый тон Кнусперли чем-то раздражал Деморуза, но в этом не было ничего нового.

— Не ваше дело, что мне по карману, а что нет, — возразил он. — Но можете быть уверены, если когда-нибудь увидите у меня на руке такие часы, я куплю их не здесь.

— От меня-то чего она хочет, эта итальянка?

— Я же сказал вам. В чем дело, оглохли вы, что ли? Она хочет обменять эти часы на другие — без будильника.

— На более дешевые?

— Она утверждает в своем письме, что готова возместить разницу в цене, но часы без будильника, полагает она, должны стоить дешевле.

— Вовсе не обязательно, — изрек Кнусперли, покачав головой. — Совсем нет. Скажем, часы «Вачерин» в корпусе белого золота тоньше печеньица не имеют ни будильника, ни даже календаря, но стоят раз в двадцать дороже, чем «Зона Уэйкмастер». Это часы совсем другого класса.

— А я и не говорю, что не согласен с вами, — заявил Деморуз с лукавым видом. — Но эта итальянская служанка не станет излишествовать, так ведь? Да и потом, — добавил он с беспричинной злобой, — вы ведь хороших часов не держите, правда?

— Достаточно мне послать телеграмму любой из ведущих фирм, чтобы к завтрашнему утру получить какую угодно модель по каталогу, — огрызнулся уязвленный Кнусперли.

— Я готов вам поверить, — отвечал Деморуз, насмешливо, по своему обыкновению, косясь на мосье Кнусперли, — но у себя-то вы их не держите, верно? Я вот что имел в виду —

итальянка не может, самолично придя к вам, сказать: «Покажите мне вон те часы «Вачерин» или «Пьяже» с витрины». Не может, прав я?

— Может, если я покажу ей каталог. Конечно, может.

— Но она ведь не сделала этого, не сделала? То есть я хотел сказать, вы этого не сделали, нет? Не показывали ей каталог, я вот про что.

— Куда вы клоните? — холодно спросил Кнусперли.

Лик Деморуза в мгновение ока обрел невиннейшее выражение.

— Клоню? Да я просто веду беседу!

Кнусперли нахмурился, и последовала длительная пауза.

— Знаете, что она сделала? — Деморуз вдруг заговорил тихим голосом праведника.

— Кто?

— Эта служанка из Италии.

— Не знаю.

— Прислала часы обыкновенным письмом, даже незаказным, вот так-то. И написала на конверте: «Подарок. Ценности не имеет».

Кнусперли испустил тихий свист — знак недоверия.

— Конверт у меня с собой! Я принес его! — вскричал Деморуз, откопав у себя в кармане эту улику.

Кнусперли разгладил конверт. Затем поднял глаза, взгляд его был так же драматичен, как у Деморуза, только, пожалуй, более жалок и хмур.

— Попытка обмануть швейцарские таможенные власти, — произнес он.

— Это нарушение федерального закона!

— Я думаю, вскрой они пакет, дело закончилось бы самое меньшее конфискацией.

— Или штрафом, — добавил Деморуз, — а то и тюрьмой. Они стали гораздо строже последнее время. Могли бы даже применить все три санкции совокупно. С Эдит, моей свояченицей, так и случилось. Впаяли ей все сразу по совокупности. Первый такой случай был в нашем кантоне. Не посмотрели, что женщина, хоть вы бы никогда ее за женщину

не сочли. Скажу вам больше, тут на конверте написано ваше имя, вот видите? Мою свояченицу на этом и накололи. Она таскала вещи из магазинов. На сумках обозначено было название магазина, вот дело и вышло наружу. Я думаю, в вашем случае все, как всегда, переврут. Сперва пойдут разговоры о том, как кто-то переслал контрабандой часы, купленные у вас в магазине; потом, когда круг замкнется, окажется, что вы сами контрабандой завозили к себе часы.

— Я вам вот что скажу, — ответил Кнусперли после недолгих, но категорических размышлений над всеми этими истинами. — Я часы обратно не возьму. Они были за границей. А потом прошли через таможню в пакете с фальшивой декларацией о вложении. Я не стану марать себе руки.

— Совершенно правильно, — согласился Деморуз. — А часы все-таки отличные. — Он достал часы и ласково погладил их. — Хотя здесь вроде бы вмятина... Вот, взгляните.

— Нет, — возразил Кнусперли. — Это дизайн такой. Там, с другой стороны, тоже есть выемка, видите?

— Мм... Пожалуй, но эта вмятина кажется больше той, разве нет? Чем дольше на нее смотришь, тем глубже она становится...

Они заглянули друг другу в самую глубину души.

— Сорок франков наберете? — спросил Кнусперли.

— Наберу ли я сорок франков! — рассмеялся Деморуз.

— Вы мне тут голову не морочьте. Уж я-то знаю, кто вы и что вы — пьянчуга... ничтожество... позор всей долины.

— Я могу себе позволить все что угодно, за сколько угодно, когда угодно, — заявил Деморуз на самых высоких нотах. — Вопрос лишь в том, угодно ли мне потратить сорок франков.

— Так угодно ли вам?

— Сорок франков за эти часы? Да.

— Хорошо. Берите их. Но с одним условием.

— Каким именно?

— Вот часы ценой в сорок франков. Это — «Помона Эвергоу» в противоударном хромированном корпусе. По цене и вещь. Вы пошлете их этой женщине и напишете ей, что сами

их выбрали и они стоят ровно столько же, сколько те, которые она вернула. Это уж на вашу ответственность.

— Годится, — прошептал Деморуз, отсчитывая сорок франков мелкими деньгами, которые под конец становились все мельче и мельче.

Кнусперли дважды пересчитал их и положил в ящик кассы.

— И вот еще что, — сказал Деморуз.

— Да?

— Кто оплачивает почтовые расходы?

Кнусперли быстро прикинул все. Он совершил выгодную сделку и хотел теперь казаться щедрым.

— Почтовые расходы пополам.

Они пожали друг другу руки.

Три дня спустя Пия получила в Париже новые часы.

Они пришли в том же самом конверте, только переадресованном на ее имя. И надпись, выведенная ее рукой: «Подарок. Ценности не имеет», сохранилась по-прежнему. Новые часы показались ей на вид подозрительно дешевыми, а когда она попробовала их завести, головка пружины тут же отвалилась. Пия немедленно отнесла их часовщику, который объяснил, что часы вряд ли есть смысл чинить, поскольку ремонт придется делать часто и стоимость его скоро превысит цену часов. Тогда она попросила его оценить их, но он ответил, что никогда не имел дела с товаром подобного сорта. Уступая ее просьбам, он наконец сказал, подумав, что красная цена им — двадцать франков.

Вернувшись домой, отчаявшаяся и разъяренная Пия написала длинное письмо мосье Петисьону, изложив суть обмана, жертвой которого стала. Мосье Петисьон прочитал письмо за завтраком сначала с веселым изумлением, затем с приятным чувством гнева. Сказать по правде, ему уже изрядно наскучило пребывание в горах. Снега он не любил. И выносил его лишь благодаря нарядам, которые женщины надевали, чтоб показаться на заснеженном фоне. Мосье Петисьон питал слабость к элегантным свитерам, которыми

женщины любили поражать воображение, и особенно к облегающим брюкам — в них дамы появлялись после лыжных прогулок: ах, как выгодно они обрисовывали очертания женской фигуры — такой субтильной в минуты отдыха и упругой, пышной в движении. Он был из любителей поглазеть на прекрасный пол, но никогда не унизился бы до замочной скважины. Однако и эти невинные услады стали ему приедаться. Телефона и телекса было явно недостаточно, чтобы полностью занять его внимание или бросить вызов его проницательному уму. Профессия же мосье Петисьона приучила его остро реагировать на всякое жульничество и нарушение закона; более того, он часто воображал, будто отыскал симптомы этих явлений там, где на самом деле их не было. Поэтому письмо Пии подействовало на него, как кость, которую кто-то вдруг сунул под нос задремавшему псу. Он решил разобраться в этом деле и привлек весь свой обширный и горький опыт знакомства с двуличием человеческой натуры, чтобы выполнить данное ему деликатное поручение.

Мосье Петисьон вошел в лавку Кнусперли перед самым обедом, когда мадам Кнусперли помогала своему мужу за прилавком.

Быстро отделавшись от двух других покупателей, Кнусперли улыбнулся столь почтенному клиенту.

— Не часто мы имеем честь видеть вас лично, мосье Петисьон, — сказал он. — Надеюсь, нет никаких жалоб на лыжные ботинки для вашего сына?

— Я даже не знал, что они куплены здесь, — отвечал Петисьон.

— О да... Мы подобрали лыжное снаряжение для всей семьи. Мадам была у нас только вчера вместе со своим инструктором, они подыскивали более совершенную модель лыж. Я предложил им «Лоун Иглз» — любимую марку чемпиона...

Петисьон бросил на него острый взгляд.

— Я пришел сюда не за покупкой, — сказал он. — Напротив, я хочу получить кое-какие деньги с вас.

— С меня? — Кнусперли побледнел.

— Речь идет о часах, — продолжал Петисьон в свойственной ему спокойной, деловой манере.

— О часах. Я что-то не припомню...

— Напротив, у меня есть основания полагать, что вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Моя служанка купила у вас часы.

— Эта итальянская дама? О, разумеется...

Изображая невинность, Кнусперли волей-неволей подыгрывал во всем Петисьону.

— Совершенно верно. Итальянская дама. Она приобрела у вас часы за сто восемьдесят франков.

— Вообще-то их настоящая цена сто девяносто восемь франков, но я сделал скидку специально для нее.

— Это, безусловно, было весьма великодушно с вашей стороны. Теперь разберемся, продиктованы ли ваши дальнейшие поступки все тем же великодушием. Как я понимаю, часы эти покупательнице не подошли и она вернула их вам для обмена — такова обычная практика во всех хороших магазинах.

— Согласен с вами, мосье.

— Рад это слышать. В самом деле, вы подтвердили свою точку зрения, послав ей в обмен часы стоимостью примерно в двадцать французских франков... это по нынешнему обменному курсу около восемнадцати швейцарских франков.

— О мосье, я протестую! Кто оценивал часы?

Мосье Петисьон сверился с бумажкой, на которой составил для себя резюме.

— Фирма «Ожье, Дюпон и сын», бульвар Победы, сто восемнадцать, Париж. Они представляют по меньшей мере три известные швейцарские часовые фирмы.

— Но, мосье, ведь это «Помона Эвергоу»!

— Я никогда не слышал о такой фирме, — ответил мосье Петисьон, — хотя веду дела с крупнейшими компаниями Женевы и Ла-Шо-де-Фона. Но и в моих познаниях могут оказаться пробелы. В таком случае вам достаточно только предъявить мне каталог фирмы «Помона», и мы вместе оп-

ределим, сколько вы остались должны моей служанке.

Кнусперли смешался, особенно потому, что жена его внимательно прислушивалась к разговору.

— «Помона» не выпускает каталога своих изделий, — сказал он.

— Но почему? Разве это не обычная деловая практика?

— Не знаю, мосье. «Помона» — странная фирма во многих отношениях.

— Вполне могу в это поверить. Может быть, вы дадите мне ее адрес и телефон? Тогда мы сумеем выяснить все вопросы.

— У меня нет их адреса... при себе.

— Тогда как же вы получаете от них часы? — поинтересовался мосье Петисьон. — Уж не фабрикуете ли вы их случаем сами?

— Мосье, я буду с вами откровенен...

— Наконец-то.

— Что происходит, Генрих? — спросила мадам Кнусперли.

— Ничего. Ничего не происходит. — Он весь подался вперед. — У вас, мосье, работает некая мадам Деморуз, она поддерживает порядок в шале во время вашего отсутствия.

— Совершенно верно.

— Когда ваша итальянская служанка выбрала часы за сто восемьдесят франков...

— И уплатила за них!

— Я и не говорю, что она не платила! Я никогда не говорил этого! Никогда, мосье!

— Ну хорошо, продолжайте.

— Она... служанка то есть, послала эти часы в Италию. Я полагаю, кому-то в подарок. Подарок не подошел и был возвращен. Вместе того чтобы отправить часы обратно мне, как и следовало поступить, она послала их мадам Деморуз, а та дала их своему мужу, чье имя мосье Деморуз.

— Это кажется логичным.

— Итак, этот самый мосье Деморуз пришел ко мне и наотрез отказался вернуть часы. Это, сказал он, уже не но-

вые часы, поскольку он их носит. Он указал также, что в пути на корпусе появилась вмятина. Что же мне было делать? Я не могу позволить себе нести такие убытки. И я посоветовал ему приобрести для вашей служанки другие часы и уладить все дело с ней самой, коль скоро она прислала часы именно ему. Он выбрал часы «Помона», сказав, что они вполне подходят. Он заплатил за них. Обе пары часов оплачены, и, что касается меня, вопрос исчерпан. Люди все время приходят ко мне за покупками, и коль скоро покупки эти оплачены, меня не интересует, что происходит с товаром, как только он окажется за пределами магазина. У меня, в конце концов, не благотворительное заведение.

— Очень хорошо, — спокойно ответил мосье Петисьон. — Я выслушал ваш рассказ. Все, что я могу сказать вам, сводится к одному: кто-то должен будет выплатить разницу между восемнадцатью и ста восемьюдесятью франками, и в следующий раз, полагаю я, вы увидите меня в обществе жандарма.

— Часы стоят сорок франков, мосье, а не восемнадцать!

— Я предпочитаю полагаться на оценку авторитетного часового мастера, тем более что вы вроде бы и в руках не держали прейскурант фирмы «Помона». Bon appétit! *

— Чертов Деморуз! — завопил Кнусперли, когда Петисьон ушел, но эта вспышка благородного негодования не спасла его — жена задала ему унизительнейшую взбучку.

Петисьон пообедал в лыжном клубе, наблюдая дефилировавших перед ним элегантных дам. После обеда он вернулся в шале, зная, что мадам Деморуз будет там прибираться.

— Говорят, ваш муж обзавелся красивыми новыми часами, — заметил он, притворяясь, будто читает «Фигаро».

— Новыми часами, мосье? А я и не заметила.

— Ах, полноте, мадам Деморуз, вы — и вдруг не заметили! Судя по тому, как блистательно наводите вы порядок в доме, вылизывая каждое пятнышко, я считаю, вы замечаете все и вся.

* Приятного аппетита! (*франц.*).

— Может, у него и есть часы, но не новые, — упорствовала мадам Деморуз.

— Не новые? Сколько же им? Пара недель, так мы скажем?

— К чему вы клоните, мосье?

— А вот к чему, мадам Деморуз, — ответил Петисьон, смотря на нее в упор чуть ли не ласковым взглядом. — Пия послала вам часы, купленные ею для племянника, которые ему не подошли, не так ли?

— Верно.

— Может, вам будет угодно продолжить рассказ самой, начиная с этого места?

— Но в чем дело?

— Я объясню вам, когда вы закончите.

Мадам Деморуз пожала плечами. Она, разумеется, вела себя менее подозрительно, чем мосье Кнусперли; но ведь она женщина, подумал мосье Петисьон, и если красоты на них всех не наберешься, то искусство лжи — кладезь неисчерпаемый.

— Когда Пия прислала часы, я, само собой, дала их мужу. У меня ни на что, кроме своей работы, времени не хватает. Вечером, увидев мужа, я заметила у него на руке часы и спросила, где и как он их раздобыл. «Порядок, — сказал он, — Кнусперли наотрез отказался взять их обратно». «О, — сказала я, — он тебе их подарил?» «Нет, — ответил муж, — за них заплачено. Брать обратно он их не хочет, оставить себе не может, так должны же они кому-то принадлежать». «Нет уж, — сказала я, — Пия за них заплатила, она и хозяйка». «Но ей они не нужны, — возразил муж. — В письме ведь так и сказано». «Это все очень хорошо, — сказала я ему, — но она ведь хотела их обменять на другие». А он ответил: «Знаю, я и купил ей другие по доброте своей душевной. Обошлись мне всего в сорок франков». «Сорок франков!» — сказала я. «Ну, тридцать», — говорит. «За тридцать франков, — отвечаю, — хороших часов не купишь». «Значит, сорок», — сказал он. Выходит, муж и не должен был ей ничего покупать, мосье. Сделал он это, как сам

говорил, только по доброте душевной. Не хотел оставлять ее с пустыми руками, понимаете, мосье, она ведь не швейцарка, а иностранка.

— Иными словами, мадам Деморуз, вы утверждаете, что мосье Кнусперли отказался взять часы обратно?

— Так мне сказал мой муж, — отвечала мадам Деморуз, губа ее задрожала от преждевременного гнева.

— Но мосье Кнусперли уверяет, что ваш супруг отказался отдать ему часы.

— О-о!.. О! — вскричала мадам Деморуз, подыскивая интонацию, выражающую бесповоротное осуждение подобного кощунства.

— Я никого не обвиняю во лжи, — холодно заметил мосье Петисьон. — Все, что меня интересует, это возмещение суммы, определенной мною в сто шестьдесят два франка. И я сегодня же обращусь в жандармерию.

Мосье Деморуз пребывал в обществе мосье Кнусперли, когда мосье Петисьон явился в лавку в обществе Броглио, местного жандарма. Броглио доводился кузеном Кнусперли и племянником Деморузу и имел основания не доверять им обоим. После разговора с мосье Петисьоном мадам Деморуз поспешила домой и пересказала мужу содержание их беседы. Мосье Деморуз, которого днем всегда можно было застать дома, встряхнулся и, рыча от ярости, неистово устремился вниз, в деревню. Сейчас, застигнутые в самый разгар спора, и он, и Кнусперли замерли, как изваяния. Оба довольно мрачно приветствовали жандарма, назвав его по имени — Жюлем. Представитель власти снял фуражку, тем самым показывая, что не желает выносить скандал за пределы семьи.

— Могу я начать? — осведомился мосье Петисьон.

— Я уже осведомлен о фактах, мосье, — сказал жандарм.

— Вы осведомлены о двух различных версиях событий, мосье жандарм. Теперь наш долг, как и ваш, распутав узел, установить истинные факты, — поправил его мосье Петисьон.

— Как вам угодно, мосье, — ответил жандарм, всячески старавшийся скрыть свою тупость под личиной усталости.

Он медленно достал блокнот, лизнул палец и, после долгого изучения чистого листа бумаги, отыскал на нем нужное место.

— Где часы? — осведомился он.

— Какие часы? — спросил Кнусперли.

— Насколько я понимаю, причиной конфликта послужили часы, — сказал жандарм.

— Точнее, две пары часов.

— Именно две! — страстно подхватил мосье Деморуз.

— Две пары часов? — И жандарм воззрился на мосье Петисьона с таким видом, будто тот ввел его в заблуждение. — Если речь идет о целых двух парах часов, — сказал он, — то, пожалуй, дело следует передать в управление.

— Я все объяснил вам в отделении, — с изысканным терпением напомнил мосье Петисьон.

— Мне это известно, мосье. Я, знаете ли, не слабоумный.

— Разумеется, нет.

— Вы заявили, что некая итальянская дама, Чиантелла, Пия, которая работает у вас служанкой по адресу: номер девяносто один бис, авеню Фоша, Париж, Франция, приобрела часы — одну пару часов, — он с особым нажимом произнес три последних слова, — одну пару часов в магазине мосье Кнусперли, Генриха, уплатив сумму в сто восемьдесят франков...

— Швейцарских франков, — перебил его мосье Петисьон.

— Поскольку мы находимся на швейцарской земле, мосье, слово «франки» означает «швейцарские франки», если не будет оговорено особо, что речь идет о французских. Получив часы, она пришла к выводу, что они ей не подходят, и отправила их мадам Деморуз, Ирэн, из шале «Souriante colline» *, дабы та обменяла их на часы примерно такой же стоимости или ниже, но без вделанного будильника. Что бы там ни было далее, она получила взамен часы в хромированном корпусе, изготовленные, как утверждают, фирмой «Помона» и оцененные фирмой «Ожье, Дюпон и сын», сто восемнадцать, бульвар Победы, Париж, в двадцать

* «Улыбающийся холм» (*франц.*).

французских франков, без возмещения какой-либо разницы в цене. При заводе упомянутых часов механизм их не сработал, а заводная головка упала на пол. Верно ли это?

— Это верно, — согласился мосье Петисьон.

— Таким образом, речь может идти лишь об одной паре часов, — заявил жандарм, — поскольку у мадемуазель Чиантеллы, Пии, не было желания покупать более одной пары.

— Вряд ли она ожидала получить одну — последнюю — пару за счет другой, более ценной; следовательно, речь должна идти о двух парах часов, — возразил мосье Петисьон.

— Она намеревалась иметь две пары часов? — задал вопрос жандарм.

— Разумеется, нет.

— Тогда дело касается только одной пары часов, — стоял на своем жандарм. — Вы желаете, чтобы она заплатила верную цену за часы марки «Помона Эвергоу»?

— Да.

— Значит, тогда именно эти часы нас интересуют.

— Но она уже заплатила за более дорогие часы! — вскричал мосье Петисьон, теряя самообладание.

Жандарм вздохнул.

— Кто ведет это расследование, мосье, вы или я?

— Вы, — с явным сожалением признал мосье Петисьон.

— Вот и отлично! — Жандарм вперил взгляд в Кнусперли и Деморуза. — Итак, когда Деморуз, Альберт, принес часы вам, Кнусперли, Генриху, вы отказались взять их обратно?

— Никоим образом, — решительно возразил Кнусперли.

— Это наглая ложь! — вскричал Деморуз, обрушив свой заскорузлый кулак на стеклянную витрину прилавка.

— Возьмите свои слова обратно, — вспыхнул Кнусперли, — или покиньте магазин!

— Никто не покинет магазин, пока здесь нахожусь я, — сказал жандарм. — Вы выражали желание взять часы назад?

— Как справедливо отметил мосье Петисьон, это нормальная деловая практика.

— Так почему вы тогда их не взяли?

— Деморуз отказался вернуть их.

— Клянусь богом! — взревел Деморуз, снова обрушив кулак на стекло и на сей раз разбив его. — Клянусь богом, это вонючая ложь! Итальянка прислала часы обратно в простом конверте, помеченном «Подарок. Ценности не имеет», явно с целью обмануть федеральную таможню.

Брови жандарма поползли вверх к границе растительности.

— Вы заявляете это официально, для занесения в протокол? — спросил он.

— Да, да!

— Докажите! — вскричал Петисьон.

— Я могу это доказать и докажу!

— Предъявите конверт!

Из Деморуза вдруг вышел весь пар.

— Увы, — сказал он, — я отослал ей другие часы в этом самом конверте.

— И на нем, как утверждают, надпись: «Подарок. Ценности не имеет»?

— Я... Я не помню.

— Вот цена высоких моральных принципов этих людей! — провозгласил Петисьон.

— Я-то хоть отправил в нем дешевые часы! — вскричал Деморуз. — Куда более дешевые! Самый что ни на есть подарок, не имеющий ценности.

— Так вы признаете это!

— Конечно, признаю.

— Наконец-то, — с удовлетворением сказал Петисьон.

— Я никогда не отрицал, что это более дешевые часы, — предупредил мосье Кнусперли.

— Вы, — обвинил его Петисьон, — уклонялись от ответа всякий раз, когда я спрашивал вас о цене.

— Он содрал с меня сорок франков, хотя вы, мосье, говорите, что цена им — двадцать! — взвыл Деморуз.

— А кто мне заплатит за разбитый прилавок? — проревел в ответ Кнусперли.

— Господа, — сказал жандарм с тем вымученным достоинством, к какому прибегают школьные учителя, дабы

внушить своим питомцам, что разочарованы в них, — господа, с моей точки зрения, на карту поставлена не столько сумма в несколько франков, сколько честь всей общины.

Инстинктивное чутье, более острое, чем его мыслительные способности, подсказало жандарму ход, позволявший перенести словопрения в сферу гордыни и чести, подальше от фактов, ни единого из которых он не понял. Первым среди тяжущихся воспользовался спасительным проходом меж ловушек и препон Кнусперли.

— Я не дурак, — сказал он вдруг рассудительно. — Такой клиент, как мосье Петисьон, куда дороже мне, чем пустяковая приплата, а уж репутация моя — тем более. Этот магазин был основан еще в тысяча девятьсот втором году моим дедом...

— Дед твой был старый ублюдок, а ты весь в него, — вставил Деморуз.

Кнусперли ответил на оскорбление лишь печально-снисходительной улыбкой.

— ... И с тех пор мы верой и правдой служим обществу, — продолжал он. — Поэтому, если все стороны согласны, я готов лично возместить разницу в цене. Речь идет о сумме в сто сорок франков. Для всех ли это приемлемо?

— Нет, так дело не пойдет! — завопил Деморуз. — Думаешь, я не вижу тебя насквозь, лицемер? Хочешь выставить меня виноватым?

— Вы никак хотите войти со мной в долю? Тогда нам это обойдется по семьдесят франков с каждого, — ухмыльнулся Кнусперли.

— Вы что, меня за идиота считаете? — прорычал загнанный в угол Деморуз. Он обвел взглядом остальных и снова уставился на ненавистного Кнусперли, с лица которого по-прежнему не сходила бессмысленная ухмылка, приводившая Деморуза в бешенство. — Я не заплачу ни сантима, — гневно бросил Деморуз, — но вы все спятили, если думаете, что я буду и впредь марать руки этими паскудными часами. — Он снял часы и положил их на разбитую витрину прилавка. — Вот они, нате!

— Я и не притронусь к ним теперь. Заберите их сейчас же, не желаю больше видеть ни их, ни вас.

Деморуз озирался, затравленный и обескураженный. Вдруг он протянул часы жандарму. Жест этот выглядел столь же глупым, сколь и неожиданным.

— Вы пытаетесь дать мне взятку, дядя Альберт? — спросил жандарм холодно. — Я ведь, знаете ли, при исполнении...

Деморуз в отчаянии протянул часы мосье Петисьону, тот отмахнулся с раздражением.

— У меня уже столько часов, не знаю, куда девать их, — сказал он, — и получше, чем эти.

— Ну хорошо! — вскричал Деморуз, его вдруг осенило: — Вот что я вам скажу. Я отошлю их назад этой итальянке и укажу на конверте характер вложения и стоимость. Именно так и сделаю! А вы, черт возьми, выкручивайтесь как угодно!

— Вы удовлетворены последним предложением, мосье? — спросил жандарм Петисьона.

Честно говоря, Петисьон был несколько разочарован этим внезапным фейерверком великодушия. Он не ожидал ничего подобного, поскольку в сфере банковских операций такое не случается.

— Что ж, решение, я полагаю, разумно, — ответил он, — хотя остается безнаказанным совершенно очевидное намерение мошенническим образом обмануть домашнюю прислугу. И не возьми я все дело в свои руки, мы столкнулись бы сегодня со злостным проявлением социальной несправедливости.

— Сколько вы платите своей итальянке? — поинтересовался Деморуз, иронически выпучив глаза.

— Это, я полагаю, не ваше дело, — резко ответил Петисьон.

— Почему бы и не мое, раз уж мы заговорили о социальной справедливости, — продолжал Деморуз. — Надеюсь только, она получает у вас побольше, чем те жалкие гроши, что вы платите моей жене. Шесть франков в час! От самого прямо смердит богатством, он купается в деньгах, а платит

меньше всех в этой чертовой деревне! Ну, а жена моя далеко не в лучшей форме. Так что полегче насчет социальной справедливости, сударь! Полегче!

Петисьон побагровел от гнева.

Ему на выручку пришел Кнусперли:

— Шесть франков в час? Значит, твоей несчастной жене пришлось работать больше шести с половиной часов, чтобы ты мог купить себе эти часы? Сам бы уж лучше помолчал насчет социальной справедливости, Альберт.

— Назовешь меня еще раз по имени — убью! Для тебя я мосье Деморуз, слышишь, подонок!

Жандарм растащил их и за шиворот отволок Деморуза домой, спотыкаясь, но ни на миг не ослабляя профессиональной хватки. Вечером Деморуз мертвецки напился. В сердце его бурлило злобное отчаяние. Возненавидев всех на свете, он ударил жену и пил свой «Lie» прямо из горлышка. Перед его рубахи весь вымок, так как он то и дело проносил бутылку мимо рта. Когда жена поставила перед ним еду, он швырнул все в другой конец комнаты. Потом закурил зловонную сигару, от которой его тут же начало мутить, и он выкинул ее в окно. Окурок угодил в кучу соломы, она скоро начала тлеть и, несмотря на холод, загорелась. Первой почуяла запах гари мадам Деморуз и вылетела за дверь с ведром воды, но ветер отнес клочья горящей соломы к стенам старого амбара, и их разом охватило пламя. Местные пожарные, все до единого — добровольцы, явились к месту событий, когда амбар уже сгорел дотла. Им, как правило, никогда не удавалось поспеть вовремя, поскольку они старались непременно выезжать на пожары в полной форме и при всей амуниции. Оставалось лишь покинуть амбар на волю судьбы и набросать снежный вал перед стенами шале на случай, если переменится ветер.

Деморуз стоял, глядя на пожарище, с дьявольской миной на лице. Он пробормотал одно лишь слово «Кнусперли», облегчился прямо на тлеющие угли, взял из дровяного сарая топор и, шатаясь, побрел вниз в деревню. Там он разбил окно в лавке Кнусперли и не оказал ни малейшего

сопротивления жандарму, явившемуся его арестовать.

Более или менее протрезвев на следующее утро, он отказался поверить, что Кнусперли не поджигал его амбара. «Он затаил на меня злобу за то, что я всем показал, кто он есть!» — без конца твердил Деморуз.

Кнусперли доказал, что во время пожара играл с родственниками в карты в кафе; но Деморуз утверждал, что родственники эти не могут не быть лгунами, приходясь родней Кнусперли. Он уверял даже, будто видел каких-то подозрительных типов, шнырявших в сумерках за окном, когда сам он наслаждался ужином, и припомнил, как говорил тогда жене: «Странно. Эти люди, что шастают там в темноте, похожи на родичей Кнусперли. Им вроде делать тут нечего».

Мадам Деморуз, хоть и не без робости, соглашалась со всеми утверждениями мужа, а синяк под глазом объясняла тем, что поскользнулась и упала в темноте, пытаясь опознать родичей Кнусперли.

В отчаянии Кнусперли обратился к закону, но пока должные процедуры шли своими незримыми извилистыми путями, Деморуза избили однажды ночью, когда он возвращался из кафе, и бросили окровавленного на дороге с пустой бутылкой из-под «Lie» в руках. Вскоре после этого Кнусперли обнаружил поутру, что у его автомобиля изрезаны шины.

Жандарму стало ясно, что образовались противоборствующие лагеря и в долине воскресла освященная веками распря. И вместо того чтобы прибегнуть к помощи начальства в Лозанне, предав гласности все эти зловещие события, к вящему позору и унижению всей деревни, он созвал совещание старейшин.

Первым на совещании изложил свою точку зрения патриарх, мосье Вилли Деморуз-Кнусперли, который был связан родственными узами со всеми без исключения и пребывал в возрасте девяноста двух лет. Он поднялся перед собранием. Жидкие волосы торчали на его голове, как ряды восклицательных знаков, взращенных на красном пятнистом поле; альпийские очи его сверкали, как два голубых солнца,

садящихся меж багровыми берегами рек; кристальная капля дрожала на волосках, торчавших у него из носа, величавого, как нос корабля; небрежно выбритая шея ярусами складок возносилась к подбородку; беззубые десны, когда он говорил, пережевывали воспоминания.

— Уничтожать добро другого, — изрек он, — так же глупо, как уничтожать свое собственное добро. Мы существуем здесь по воле божьей, чтобы жить в мире. Все свои войны мы отвоевали еще на заре истории. Мы научились обходиться без них. Бог, в своей несказанной милости, дал нам высокие горы, чтоб укрываться за ними, добрых коров, чтобы их доить, доброе дерево, чтобы строить. И, словно этого еще мало, он даже послал нам иностранцев, чтобы их обирать. У нас есть все, что нам надо, и даже более того. Но, говорю я вам, если сейчас мы перестали быть самими собой, то корень всех треволнений и бед лишь в нечистой совести двух людей. Я не стану указывать, кто прав, а кто виноват. Только двое с нечистой совестью могли учинить неприятности, постигшие нас. Одному это не под силу. И мне нечего добавить, кроме одного: прав будет всемогущий, если, в непостижимой мудрости своей, отнимет у нас иностранцев. Тогда мы будем низведены до того, чтобы обирать друг друга, как мы и делали, когда у нас еще существовали войны.

— Почему мы так редко видим вас в церкви? — спросил, улыбаясь, священник, когда собрание закончилось.

— Не люблю ее. Скучно. Дома спать удобнее, — прошептал старик.

Тем временем в Париже Пия была потрясена и утолена, получив обратно не только деньги, но и обе пары часов. Дорогие часы она снова послала Манлио, положив в новый конверт с надписью «Подарок. Ценности не имеет», и объяснила в письме, что магазин отказался принять их обратно, что они обошлись ей в изрядную сумму и что всякий раз, когда зазвонит будильник, он должен вспоминать о любви,

благодаря которой этот будильник был ему послан. Вторые часы она послала Джорджио.

Летом, вернувшись в Италию, Пия не обнаружила в обоих парнях никаких перемен. Джорджио был, как всегда, уродлив, разве что Манлио стал еще красивее. Только велосипеды, казалось, чуть состарились.

— Ну как ходят ваши часики? — спросила она.

Парни переглянулись.

— Мои пришли сломанными, — сказал Джорджио.

— Porca la miseria! * — проворчала Пия, — совсем нельзя полагаться на почту. Из Парижа ушли целехонькими.

— Заннонелли сказал, их и чинить не стоит.

— Даже до этого дошло? — простонала Пия. — О мадонна! А твои? — мило улыбнулась она Манлио.

— Мои? Я их потерял.

— Потерял? Лжешь! — уличила его Пия.

Манлио пожал плечами, уклоняясь от необходимости отвечать.

В ярости Пия ухватила его за обнаженные руки и как следует встряхнула.

— Где часы? — взвизгнула она.

— Я их продал, — сказал Манлио, извиняясь вроде лишь наполовину. — Мне больше нужны были деньги, чем часы. Я продал их матросу-американцу.

— За сколько? — трагическим шепотом спросила Пия.

— Четыре тысячи лир.

Пия ударила его по лицу с такой силой, что пощечина не могла быть не чем иным, кроме как проявлением любви.

— Mascalzone! ** — закричала она. — Ты продал часы дешевле, чем я заплатила за них!

Манлио снова пожал плечами и прилег погреться на солнышке.

* Здесь: Черт побери! (*итал.*).

** Негодяй! (*итал.*).

Содержание

Устинов П.

У 80 День состоит из сорока трех тысяч двухсот секунд: Рассказы / Пер. с англ. и сост. Ю. Зараховича. Предисл. М. Ткачева. — М.: «Известия», 1985. — 160 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

В рассказах известного английского писателя Питера Устинова выведена целая галерея представителей различных слоев общества. В ироничной, подчас переходящей в сарказм манере автор осуждает стяжательство, бездуховность, карьеризм, одержимость маньяков — ревнителей «воинской славы».

У $\frac{4703000000—102}{074(02)—85}$ 91—85

ББК84.4Вл
И (Англ)

ПИТЕР УСТИНОВ
ДЕНЬ СОСТОИТ ИЗ СОРОКА ТРЕХ ТЫСЯЧ ДВУХСОТ СЕКУНД

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*
Редактор *М. Ткачев*
Художественный редактор *С. Мухин*
Технический редактор *Г. Голосовская*
Корректор *Л. Шмелева*

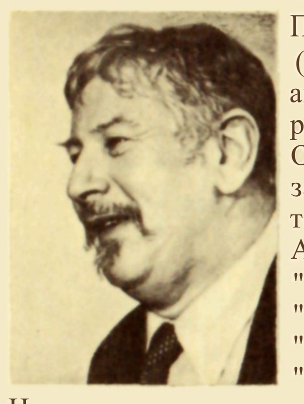
ИБ № 942

Сдано в набор 14.02.84. Подписано в печать 22.05.85. Формат 70X100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,5. Усл. кр.-отт. 13,3. Уч.-изд. л. 7,7. Тираж. 50 000 экз. Зак. № 162. Цена 90 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфин и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

90 коп.



Питер Устинов
(родился в 1921 году) —
английский писатель, драматург,
режиссер, актер театра и кино.
Окончил Вестминстерскую школу,
затем — Лондонскую
театральную студию.
Автор пьес
"Дом раскаяния" (1942),
"Ни проблеска надежды" (1953),
"Фотофиниш" (1962),
"Десятая Бетховена" (1983) и др.
Некоторые его пьесы переведены на русский язык
и шли на советской сцене. Перу Устинова
принадлежат также романы "Проигравший" (1961),
"Неизвестный солдат и его супруга" (1967),
"Крамнэгел" (1971; русский перевод напечатан
в журнале "Иностранная литература" в 1981 году),
"Уважаемый Я" (1977), публицистическая книга
"Моя Россия" (1984) и несколько
сборников рассказов.
Питеру Устинову не раз присуждалась
премия "Эмми" (ею отмечают в США
лучшие телепрограммы и передачи).
Ряд его телепрограмм посвящен
Советскому Союзу. В 1978 году он награжден
международной премией ЮНИСЕФ.
Снялся более чем в 50 фильмах
(дважды удостоен премии "Оскар"
за лучшее исполнение мужских ролей).